

АРМЕН ЗУРАБОВ

ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЗАНЯТИЙ







ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

СЕМЕН ТЕР-ПЕТРОСЯН (КАМО)



АРМЕН ЗУРАБОВ

ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЗАНЯТИЙ

Повесть
о Семене Тер-Петросяне (Камо)

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1987

ББК 66.61(2)8
З-94

Армен Зурабов известен как прозаик и сценарист, автор книг рассказов и повестей «Каринка», «Клены», «Ожидание», пьесы «Лика», киноповести «Рождение».

Новая книга Зурабова посвящена большевику-ленинцу, который вошел в историю под именем Камо (такова партийная кличка Семена Тер-Петросяна). Камо был человеком удивительного бесстрашия и мужества, для которого подвиг стал жизненной нормой.

Писатель взял за основу последний год жизни своего героя — 1921-й, когда он готовился к поступлению в военную академию. Все события, описываемые в книге, как бы пропущены через восприятие главного героя, что дало возможность автору показать не только отважного и неуловимого Камо-боевика, борющегося с врагами революции, но и Камо, думающего о жизни страны, о Ленине, о совести. Перед читателем предстает образ практика революции, романтика и мечтателя, самоотверженно преданного высоким идеалам.

$З \frac{0505030100—032}{079(02)—87}$ 142—86

Памяти мамы
Софьи Григорьевны Пирумовой

ОТ АВТОРА

В 1921 году, тридцати девяти лет от роду (за год до смерти), Семен Тер-Петросян, известный по кличке Камо, готовился к поступлению в военную академию. Незадолго до этого Камо женился на Софье Васильевне Медведевой, внучке Стасова, и жена помогала ему в занятиях по русскому языку и литературе. Об этом она пишет в своих воспоминаниях. Там же она упоминает о Зеленой тетради.

В Зеленой тетради Камо писал сочинения по литературе и на темы текущих событий. Есть в ней и упражнения по грамматике, и записи, сделанные для памяти или по случаю, иногда это строчка или строфа стихотворения. Тетрадь в свое время предназначалась для приказчиков или бухгалтеров: каждый лист разделен на корешок, накладную и квитанцию. До страницы 54 листы отсутствуют. На пятьдесят четвертой в центре, крупно, карандашом строчка из «Полтавы»: «свыше вдохновенный раздался звучный глас Петра: за дело, с богом!..»

Зеленая тетрадь хранится в Тбилиси, в архиве грузинского филиала ИМЛ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Сидя в своей маленькой комнате и глядя через единственное окно, я вижу старый сад с большими деревьями. Сад этот покрыт сплошь снегом, деревья стоят голые,

лишенные своего летнего покрова. Одни деревья стройно тянутся своими ветвями кверху, как громадные метлы с бесчисленными сучьями. На этих сучьях еще виднеются прошлогодние сухие листья. Другие деревья по краям ограды лишены этой стройности; они причудливо раскидывают свои гибкие ветви по разным сторонам. Некоторые стволы этих деревьев осыпаны снегом. Около одного из тополей стоит длинная скамейка, зарытая в снегу. Недалеко от скамейки один из тополей пошатнулся под напором бури...»

Он ничего не хотел пропускать из того, что видел,— даже след от саней, на которых свозили с улицы снег. Задание было простое: описать комнату, в которой он жил. Но он решил начать с окна — все, что виднелось за окном, тоже входило в комнату.

«Справа виднеется прекрасное по своей архитектуре белое здание архива Комиссариата иностранных дел. К левому крылу этого здания прилепилась маленькая домашняя старинная церковь с зеленым куполом, оканчивающимся золотою головкой. Все это: сад и строение окружено красивою каменной оградой белого цвета. Впереди виднеются разноцветные крыши домов и красивая высокая башня Румянцевского музея. Еще вдалеке виден огромный золотой купол храма Христа Спасителя, который в солнечный день ярко сверкает в голубом небе...»

Он поискал глазами, о чем еще написать и, не найдя, решил перейти к комнате. Но прежде прочел написанное, снова посмотрел в окно и удивился: теперь он видел не то, что было перед глазами, а то, что написал. То, что было перед глазами, наполнилось словами, которые он написал, и от этого как будто слилось с ним. Он это ясно почувствовал, и это его удивило. Он подумал о том, что, может быть, такое чувствуют писатели — как сливается с ними то, о чем они пишут, и потом уже нельзя больше увидеть это отдельно от себя. Тут, вероятно, весь секрет

писательского дела, решил он. Вероятно, писатели знают. Надо будет спросить Горького. Но, вспомнив о Горьком, он вспомнил, что решил прочесть книги Томаса Манна, о котором Горький много и с радостью говорил при нем Ленину, и, чтоб не забыть, тут же, в тетради, записал: «Может быть, чего-нибудь Т. Манна. Я еще ничего не знаю из его произведений». И перешел к компате.

«Компата, в которой я живу и занимаюсь, представляет собой правильный четырехугольник длиной две с половиной сажени и шириной около четырех аршин, вышиной пять аршин. Белый оштукатуренный потолок оканчивается карнизом; паркетный дубовый пол; стены оклеены до двух третей своей вышины пестрыми обоями и одна треть — белой бумагой. Благодаря этой оклейке комната залита светом и имеет веселый вид». (А если подумать, что здесь веселого: старые вещи, семейные фотографии — никого в живых нет... Как много зависит от цвета обоев!) «Половина комнаты отгорожена изящными ширмами орехового дерева в стиле рококо, обитыми полосатым штофом. Пол покрыт пестрым персидским ковром. Перед окном стоит небольшой дубовый, крытый малиновым сукном письменный стол. На столе черненая серебряная чернильница смешанного стиля египетского ампира. Она представляет собой фасад и вход в египетский храм. На верху фасада помещена римская ваза, по обеим сторонам которой находятся по паре змей, служащих для этой вазы ручками. Под сводом помещена фигура священного быка Аписа, рога которого поддерживают круг часов с черным циферблатом. Остановившиеся стрелки часов указывают без пяти минут пять. К рогам быка прикреплены серебряные цепи, которые другими концами закреплены за кольца двух спереди стоящих усеченных пирамид, служащих чернильницами...»

Описание чернильницы утомило его и, отложив ручку,

он некоторое время с интересом разглядывал чернильницу. Все, что он знал о ней, рассказала Соня — о стиле ампир, о быке Аписе и, главное, о том, что чернильницу подарил художник Репин. Сейчас, написав о ней, он как бы соединил с ней то, что знал. Он взял ручку и после слов «на столе черненая серебряная чернильница» мелко между строчками вписал: «Подарок Репина Стасову».

Откинулся на спинку кресла и, довольный, оглядел комнату. Вещи в комнате перестали быть обстановкой, к которой он привык, и даже как бы приблизились к нему. Как будто в бинокль посмотрел, подумал он. Нет, в бинокль издали смотришь, а тут берешь вещь, кладешь на бумагу — и все видишь. Можно весь мир вот так положить на бумагу, даже — себя... Как смотреть на себя? Кто на кого смотрит? Если смотришь на себя, тогда кто смотрит? Кто-то смотрит... Чепуха! О чем я думал? А, вот: когда написал, увидел лучше, чем глазами. Писатели поэтому видят лучше. Главное — сесть и написать, тогда увидишь. Горький так и говорит: садись и пиши! Горький — чудак, удивляется, что можно бросить бомбу, а сам написал столько книг — и не удивляется. А что такое писать? Вещь превращается в слово?.. И вещь уже не вещь, а слово, слово — душа вещи... Непонятно. Но что все-таки произошло с этой комнатой? Как будто в первый раз увидел, написал — и увидел, вначале было слово... Кто это сказал? Горький...

В тот день, вернее, вечер, все пришли сюда. Сразу после просмотра фильма о гидроторфе Шатуры. Ленин, Горький, Андреева, Богданов, Игнатьев... Все в этой комнатке, и Соня разливает из самовара чай. Горький сказал: в этой комнате раньше жили синицы — и стал перечислять: московка, хохлатая, тиссовая, лазоревка... В пятом году в этой комнате жил артист Качалов, и Горький жил у Качалова и разводил синиц, а Горького охра-

няли боевики из дружины тифлисского актера Васо Арабидзе. От Арабидзе Горький впервые услышал имя Камо. Горький рассказывал больше всех, и Соня останавливала его, чтоб он успевал выпить чаю. Потом Ленин шутил над Игнатьевым, которого назначили торгпредом в Финляндию, а в пятом году Игнатьев изобретал для боевиков Красина бомбы. И Богданов в пятом году помогал боевикам, а теперь рассказывал о своем институте переливания крови и о том, что переливание исцелит мир от всех болезней. Ленин слушал его задумчиво и не перебивал. Потом Ленин опять восхищался гидравлической добычей торфа, которую изобрел Классон, и вспоминал, как на квартире у Классона, четверть века назад, в целях конспирации, на масленицу, устроили вечеринку с блинами. И опять говорил Горький — что-то о типографиях и издательстве — и сказал, что вначале было слово... О каком «начале» говорил Горький? Ничего, никого не было — только слово?.. Откуда слово, если никого не было? Что-то не так. Надо, видно, совсем иначе думать. Скоро Соня придет. А может быть, опять задержится. Вчера привезли больных тифом. Хорошо, что врачи не заражаются от своих больных. Соня сказала: если врач настоящий, он не заболеет, у него все силы мобилизованы, как у солдата. Солдаты в окопах не болеют, это верно. У человека сил больше, чем он думает, в тысячу, в миллион раз больше. Но ему нельзя знать об этом прежде, чем будет мировая революция. Иначе он использует эти силы во вред. Добра кто хочет, должен добрым быть. Какой-то писатель сказал, короткая фамилия, иностранная... Забыл, что-то стало с головой... Гете! Германский писатель Гете: добра кто хочет, должен добрым быть. Надо спросить Соню, интересно, сам этот Гете добрый был? Кто вообще добрый? Что значит добрый? Убить того, кто убивает других,— это не добрый? А смотреть, как убивают,— добрый?.. И все-таки что было вна-

чале? Я думал о том, что было вначале... Только не обо всем сразу — я так еще не умею. Надо думать о том, что хорошо знаешь. Что я знаю хорошо? Я знаю то, что было со мной. Что было вначале со мной? Умерла мать... До этого был топор. Нет, умерла мать. В этом начало: остаешься один на один со всем миром. Пока жива мать — не один. У матери не хватило сил жить в своем слабом маленьком теле — и она ушла. Он тогда ясно это ощутил — что уходит. Обнял ее и кричал, чтоб не уходила. Уже обняв, с удивлением чувствовал, как пустеет и становится неживым ее тело.

Сразу после похорон он сказал тете Лизе:

— Если бы мать не вышла замуж за отца, она бы не умерла.

Тетя Лиза подумала и ответила:

— Твоя мама умерла от почек, Сенько.

И стала плакать.

Он удивился — от каких-то маленьких почек... Он видел почки баранов, когда отец разделывал мясо для кутежей. Отец наваливался на барана тяжелым волосатым телом, опрокидывал его на спину, долго, словно находя поудобнее место, всовывал в нежную выгнутую шею нож, а потом еще держал нож под струей крови, а когда баран переставал дергаться, быстро снимал с него шкуру и тут же, во дворе, доставал внутренности, и тогда он видел эти почки — маленькие, густого красного цвета, почти черные,— и от них умерла его мать.

Тетя Лиза потом объяснила: все от родов. Мать родила двенадцать детей. Осталось пятеро. На всех работали ее слабые, маленькие почки. И не выдержали. Надорвались.

Он помогал рыть могилу. Хотел что-нибудь еще сделать для матери, как будто уже понимал, что больше никогда ничего для нее не сделает. И от этого — от того,

что делал это для нее,— рыл не останавливаясь, не уставая, и, когда могильщики выходили из ямы передохнуть и закуривали, оставался в могиле один и продолжал яростно выкидывать в небо комки черной земли.

Могильщики удивлялись, и один из них что-то об этом сказал — о том, что вот, мол, как сын любит свою мать, и еще что-то об этом, и усмехнулся, и тогда он бросил из ямы в могильщика камнем, и вмиг выкарабкался наверх, и с лопатой в руке — замахнувшись лопатой — пошел на могильщика, чтоб его убить.

Ему было семнадцать лет, он был худ и мал ростом, а могильщик был большой, с седой широкой грудью и толстой шеей. Могильщик тогда отскочил от него и еще отступил потом на несколько шагов и сказал:

— Держите его!..

Могильщик мог бы не отскочить, а навалиться на него и отнять лопату и мог вообще поднять его вместе с лопатой и бросить обратно в яму, но он ничего этого не сделал, а отскочил и отбежал еще дальше и еще раз крикнул:

— Держите его...

Он знал в себе эту силу. Ее знали все, с кем он дрался, и отец знал.

Был вечер, шел дождь, он лежал в кровати в своей комнатке и слушал, как стучит по листьям у окна дождь, и вдруг услышал крик матери. Крик доносился из спальни, но он побежал не в спальню, а на кухню и схватил топор. Вскочив, почему-то скинул прежде всего ночную рубашку, вероятно, думал надеть штаны и рубаху — успеть надеть, но раздался еще крик, за ним еще, и уже мать кричала одним звуком, жутко, не прерывая крика. И он не стал тогда ничего надевать, а как был, голый, бросился на кухню...

К дверям спальни бежали сестры, испуганно плакали, путаясь ногами в длинных ночных рубашках. Уви-

дев его, голого, с топором, пронзительно завизжали, прижавшись к стене. Он распахнул дверь спальни: мать лежала на кровати, тюфяк под ней сполз на пол, и ноги ее, голые, лежали на металлической сетке, а отец наклонился над ней, держал ее одной рукой за обнажившееся из-под кружевной рубахи плечо, а другой бил ее по лицу, и когда он вбежал с топором, отец еще один раз ударил ее, потому что уже не мог остановить тяжелого взмаха руки, а потом сразу отскочил от кровати и уставился на топор.

— Ты что, сынок? Ты что, ты что, сыночек? А?! Ты что? Ну, ты что?!

Отец прижался в угол, потому что в комнате была только одна дверь, в которую отец мог уйти, но в дверях стоял он, голый, с топором, и молча шел на отца, подняв топор,— и тогда его тоже несла на отца эта сила, и отец увидел это в его глазах, и потому прижался в угол, и еще присел на корточки, и закрыл голову руками, и так, присев на корточки и закрыв голову, повторял одним звуком: а-а-а! а-а-а! а-а-а!

И потому ли, что этот тоскливый вой напомнил, как только что кричала мать, или потому, что он увидел это скорчившееся от страха большое тело, или оттого, что оглянулся на мать и увидел ее онемевшее безумное лицо, и увидел в дверях сестер в смешных длинных ночных рубашках, он остановился, прижал топор к груди и заплакал.

Когда хоронили мать, тело ее было, как холодный камень. Теперь там, под могилой, в земле совсем превратилась в камень. А через тысячу лет никто и не поймет, что это было раньше, и будет просто большой камень. Вот так, может быть, каждый камень был человеком, подумал он, или лошадью, или кем-нибудь еще, или

птицей — птица, когда умирает, тоже падает на землю. И эти вещи в этой комнате тоже остались от тех, кто здесь бывал. Тихие старые вещи. Может быть, и слова остались, все, о чем здесь говорили? И сейчас в этой комнате носятся красивые умные слова.

Он почувствовал усталость. Надо было описать еще несколько вещей, и он коротко их перечислил: портрет известного художественного и музыкального критика Стасова, портрет общественной деятельницы Надежды Васильевны Стасовой, портрет судебного деятеля юриста Стасова, дубовое кресло, обитое зеленоватой клеенкой, простой деревянный стул с мягким сиденьем, маленькая электрическая люстра в виде фонаря посредине комнаты и настольная электрическая лампа.

Он снова оглядел комнату, потом посмотрел на исписанные страницы и подумал, что комната теперь перешла в его тетрадь. Она вся поместилась на трех тетрадных листах. И все, что в комнате и в окне, превратилось в слова. Теперь, если эту комнату разрушить, она все равно останется в словах. Интересно, Соне приходила в голову такая мысль?.. А Соня задержалась. Может быть, привезли раненых с фронта. Или новых тифозных.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В голубом небе ярко сверкает золотой купол храма Христа Спасителя. Если прищурить глаз, окно становится маленьким, кажется, что это не окно, а картина на стене: белые деревья, крыши, золотой купол и чистое, очень чистое голубое небо, такое в Третьяковке, на картине Верещагина.

Он вспомнил картину — белый дворец, голубая вода, голубое небо. Соня сказала: Верещагин писал с натуры. Раз с натуры, значит, и небо с натуры. Значит, там, где этот дворец, такое же небо, как здесь... Не может быть.

На юге небо синее. А может быть, у Верещагина утро? Утром небо везде одинаковое — цвет неба от солнца... Нет, дело, конечно, не в солнце. И не в утре. Верещагин смотрел на небо вокруг восточного мавзолея, а видел свое, вот это небо над куполом храма. И в этом все дело. Каждый видит свое небо.

Мысль показалась ему интересной, и он решил записать ее в тетрадь. Владимир Александрович Попов, с которым он занимался языком, требовал записывать в тетрадь все, что придет ему в голову. Для упражнений. Грамотность — знание руки, а не головы, говорил Владимир Александрович, грамматика не учит языку, а изучает язык. Владимир Александрович ему нравился: у него на все был свой взгляд, как будто все, о чем говорил, сам открыл. Владимиру Александровичу понравится эта мысль: каждый видит свое небо.

Он записал эту фразу, прочел и вдруг подумал: Верещагин видел свое небо, и я вижу свое небо, но оба мы увидели одно небо, иначе, почему я вспомнил его картину? Тогда все наоборот — у всех одно небо. Но на самом деле небо действительно разное — в Тифлисе одно, в Москве другое, на Востоке, где был Верещагин, третье... Черт знает что! В философии я слаб, подумал он с огорчением, не может быть, чтоб что-то было одновременно и общим и разным, а все оттого, что смотрю в окно, вместо того чтобы писать.

Накануне вечером Соня читала вслух «Мцыри», потом он удивлялся тому, как русский человек Лермонтов хорошо понял характер кавказца, и Соня тут же попросила его все это написать — о характере кавказца и о Мцыри. Утром Соня ушла в больницу, а он сел за стол и сразу написал то, о чем подумал еще вечером, после того, как она закончила читать: «Мцыри, как видно из повести, начиная с первых дней монастырской жизни и кончая своей смертью, являлся натурой, неспособной к

суровой монастырской жизни. Он стремился к свободной боевой жизни, и если ему не изменили бы его слабые силы, то он добровольно никогда не вернулся бы в монастырь». Потом ему захотелось пересказать все своими словами, и он дошел до того места, где Мцыри победил барса, и вспомнил, что такая же схватка есть в поэме Руставели, и вспомнил, что о Руставели ему рассказывал Сталин. Когда это было?

Он два раза приезжал к тете Лизе, в первый раз — когда еще была жива мать. Сталин был и в первый раз и во второй. Тетя Лиза взяла его репетитором. Сталин был еще не Сталин, а Коба, семинарист, его исключили из духовной семинарии, он работал вычислителем-наблюдателем в обсерватории и подрабатывал частными уроками. С ним приходил Гига Годзиев, тоже бывший семинарист. Гига был на голову выше Сталина и как будто чувствовал в этом свою вину перед ним, и даже во время урока, объясняя что-то, заглядывал Сталину в лицо и спрашивал глазами: правильно, можно дальше? А Сталин не смотрел на него. Он смотрел в сторону и всегда думал о чем-то своем; то, о чем он думал, видно, было настолько важно и сложно, что все остальное, о чем говорили с ним, было для него пустяком, и поэтому, когда его спрашивали о чем-нибудь, он отвечал: «Это очень просто» — и улыбался, будто усмехался — чем занимаетесь, на что тратите время, такая простая вещь... Но ничего не объяснял. Сталин был мал ростом, но никогда не смотрел вверх. Вероятно, он и на небо не смотрел и поэтому не мог думать, что небо одновременно и общее и разное. Сталин любил во всем ясность и ясные слова, которые не требовали объяснений. Когда разгромили первую тифлисскую демонстрацию и все, кому удалось скрыться, собрались вечером в церкви на Мтацминда, Сталин сказал: рабочие должны знать, что они победили.

О тифлисской демонстрации 1901 года писали книги, а он помнил, как сверкали начищенные бляхи дворников, стоявших у подъездов. Потом, перед тем как появились казаки, дворники исчезли.

Но сначала посередине Головинского проспекта шла кучка людей. Казалось, просто не хотят, как все, идти по тротуару и со спокойным вызовом ожидают запрета, чтобы не подчиниться.

Полицейских не было. Светило солнце. Люди на тротуарах останавливались и смотрели на идущих посередине улицы. Некоторые неторопливо, праздной воскресной походкой сходили с тротуара и присоединялись к идущим.

Он шел по тротуару и напряженно следил за тем, как быстро увеличивалось их число. Сначала считал, потом сбился и только вдруг узнавал незаметно возникавшие знакомые лица — Бочоридзе, Аллилуев, Чодришвили, Аршак Зурабов, Коба, Вано Стуруа... Вано был в бараньей папахе и в зимнем пальто.

Рано утром, когда они собрались на квартире у Чодришвили, Вано требовал, чтобы все надели пальто и особенно папахи — от ударов по голове, а Миха Бочоридзе возмущался: надо было раньше говорить, где они сейчас возьмут папахи? Вано сказал, что это ему посоветовал Курнатовский, он думал, что Курнатовский успел сказать всем, и Миха снова возмущался, потому что Курнатовского взяли 21 марта, а сегодня уже 22 апреля, и не мог Курнатовский говорить о таких мелочах за месяц вперед — тогда были дела поважнее. Коба спокойно спросил:

— Поважнее, чем сохранить голову?

Миха взорвался:

— Представь себе, есть вещи поважнее, чем собственная голова!

Коба посмотрел на него внимательно и ничего не ответил.

А Курнатовского, говорили, опять вышлют в Сибирь. Такой образованный человек, что он будет делать в Сибири? В первый раз повезло — встретил в Сибири Ленина, потом приехал в Тифлис, всем рассказывал про Ленина. Теперь Ленин за границей, вместе с Плехановым и Мартовым делает «Искру». Курнатовский второй раз в Сибири не выдержит, у него грудь узкая.

У Казенного театра посреди проспекта уже шла толпа. Шли молча, смотрели прямо перед собой, словно боялись упустить из виду то, к чему шли. На тротуарах тоже молчали. Он заметил вдруг Годзиева, но прежде чем успел к нему подойти, тот перебежал в толпу на середине и пошел тоже медленно, праздно, глядя вперед и никого не замечая, и его тоже не заметили, и от этого было ясно, что его знают и знали, что он должен подойти, а может быть, и это скорее всего, то, что предстояло впереди, было настолько серьезно и даже страшно, что и некогда было замечать тех, кто подходил.

Он знал, что по всему проспекту в подъездах и подворотнях стоят переодетые полицейские, и князь Голицын, главноначальствующий Кавказа, стянул в Тифлис несколько казачьих полков, и мингрельский полк и нижегородский, и все они теперь тоже притаились где-то за домами и только ждут сигнала, чтоб выскочить. А сигналом будет то, что сделает Аракел.

Аракел в длинном пальто. Под пальто у него флаг. Аракел ждет на Дворцовой. Когда толпа придет туда, Аракел достанет флаг и пойдет впереди. А он пойдет за Аракелом, вплотную, и, если что-нибудь случится с Аракелом и флаг упадет, он поднимет его, сорвет с палки, спрячет за пазухой и скроется.

Это — первый красный флаг в Тифлисе. Надо, чтоб он сохранился. О флаге сказал Коба:

— Знамя, омытое кровью, станет для рабочих святым.

Кто-то спросил:

— Ты уверен, что оно омоется кровью?

— Уверен,— сказал Коба.

Разговор был накануне. Коба объяснял: рядом с Аракелом Окуашвили пойдет Камо. А он слушал и не мог поверить, что все, о чем говорят, произойдет на самом деле — пойдут люди, поднимут флаг, нападут казаки, будут бить нагайками, шашками, будут стрелять, кто-то умрет, потом многих сошлют в Сибирь — и все оттого, что решается сегодня, вот сейчас, в этой маленькой конспиративной квартирке на Мтацминда, этими людьми, которые немногим старше его.

А ему не было и двадцати. И еще год назад жизнь была всего лишь игрой в горийском саду, и даже побои отца и то, что выгнали из школы,— все было в конце концов игрой, в которой известно, что можно и чего нельзя, и если он делал то, чего нельзя, он знал, что за это будет наказание, потому что нарушение правил, даже в игре, приводит к наказанию. И эти несколько месяцев в Тифлисе, когда тетя Лиза наняла репетиторов, а они стали ему давать поручения — расклеить листовки, отнести газету, отвлечь городового, проследить, в котором часу уходит домой полицмейстер Ковалев, и даже кличка Камо, то, как однажды Коба передразнил его: он плохо понимал по-русски и что-то переспросил, вместо «кому» сказал «камо», и Коба передразнил: «Камо, слуши, камо!», и с тех пор его стали называть Камо,— все это опять было игрой с известными правилами, и ему опять нравилось делать то, чего нельзя, потому что все, что было можно, навевало тоску, и для того, чтоб это делать, не надо было ни ума, ни движения души, а надо было, наоборот, сохранять себя в покое, и тогда неизвестно было, для чего жизнь. И все это время, когда он уже знал, что готовится демонстрация, и бездумно радовался тому, что участвует в ее подготовке,— и это все еще была для него игра, с теми же прокламациями, переодеваниями, листовками, полицей-

скими, и появился только обещанный в конце выигрыш — «демонстрация», непонятное слово, но уже цель, близкая, через месяц, и не важно, что он не понимал ее,— игра продолжалась, для участия в ней по-прежнему требовалось только то, что он умел и любил делать с детства, и поэтому она ему нравилась, и он играл бескорыстно, на фишки с непонятными словами: «забастовка», «демонстрация», «революция», гордый уже тем, что играет со взрослыми людьми.

Но в тот день, в конспиративной квартире Годзиева на Мтацминда, накануне демонстрации, он впервые понял, что теперь предстоит делать в открытую то, что до этого можно было делать только скрываясь, делать то, чего нельзя, так, как делают то, что можно,— отменить правила, которые он знал с детства, которые создавались кем-то там, наверху, а потом спускались вниз, чтоб стать жизнью всех. Это было впервые — сознание того, что вот он находится среди тех и сам он один из тех, от кого зависит, что произойдет завтра, и это сознание своей власти настолько было неожиданно, что, слушая накануне последние распоряжения о демонстрации, он все еще не мог поверить, что завтра все именно так и будет: средь бела дня пойдут по проспекту люди, понесут плакаты, понесут красный флаг — все, как говорят вот эти несколько никому пока неизвестных людей, сидящих так мирно в маленькой комнатке на окраине города в теплый тифлисский апрельский вечер.

Но наступило утро, и все произошло так, как говорили накануне: пошли по проспекту несколько человек, потом их стало больше и — даже точно, как было предусмотрено,— когда дошли до Казенного театра, это уже была толпа, а на Дворцовой, там, где проспект расширялся перед дворцом наместника, толпа заполнила мостовую до самых тротуаров, и те, кто был на тротуаре, слились с теми, кто был на мостовой.

Потом он увидел Аракела. На нем была папаха со свисающими на глаза струйками шерсти, и под этой папахой лица почти не было видно, но он узнал его потому, что Аракел стоял на условленном месте — на углу гостиницы «Ориант», и на нем было длинное черное пальто, под которым он прятал флаг.

Аракел увидел его издали и не стал ждать, пока он подойдет, и даже не кивнул издали, и не подал никакого другого знака, чтоб он шел за ним, а стал быстро протискиваться сквозь толпу на середину улицы. Он бросился за ним и так боялся не догнать его или потерять в толпе, что почти бежал, грубо и не глядя расталкивая тех, кто стоял на пути. Потом он увидел папаху Аракела прямо перед собой и из-под папахи — сильный, заросший, с проседью, потный затылок. Он молча пошел за затылком. Аракел, не оборачиваясь, сказал:

— Смотри, чтоб не подошли сзади.

Вдруг рывком выбросил вверх обе руки, и в одной руке у него был флаг. Раздался крик — так кричат, когда бросаются в атаку, чтобы заглушить страх; он не сразу сообразил, что это крикнул Аракел, а потом, когда в наступившей тут же тишине Аракел крикнул еще и еще, словно убеждая поддержать его и не оставлять одного, он узнал не голос Аракела, а слова, потому что накануне обсуждали и это — что Аракел крикнет, и Аракел с самого же начала крикнул, как решили:

— Долой тиранов! — И в тишине еще отчаяннее: — Долой тиранов!..

Низкий хрипловатый голос из толпы запел «Варшавянку», нестройно, с разных концов подхватили. Неожиданно стали петь все, и это была не песня, а протяжный, продолжающийся крик. Он тоже стал кричать вместе со всеми, не зная слов, первым приходящим сочетанием звуков. Донеслись свистки. По тому, как толпа сразу придвинулась к нему, он понял, что с обеих сторон улицы выбе-

жали из подъездов полицейские, и то ли от того, что все теперь еще больше придвинулись друг к другу, то ли потому, что пытались перекричать свистки и крики, песня стала громче и даже стройнее, и сквозь нее стали раздаваться короткие выкрики, в которых он успевал разобрать только слово «долой», а потом донесся голос Вано Стуруа — он сразу узнал голос Вано и удивился долгой фразе, которую тот прокричал: «Да здравствует политическая свобода!» Он обернулся — туда, откуда донесся голос Вано, увидел над толпой головы лошадей и сказал в спину Аракелу:

— Лошади...— без страха и даже как будто спрашивая, откуда здесь лошади.

Аракел сразу обернулся, и он увидел, что шея Аракела стала короче,— из-под папахи видны были теперь только его губы и небритый, с проседью, подбородок.

— Прячь голову! — сказал Аракел.

Рядом кто-то испуганно выкрикнул:

— Смерть тиранам!

И только тогда он понял, что там, на лошадях,— казаки.

Аракел стоял, расставив ноги и схватив древко флага обеими руками, как будто приготовился ударить флагом как пикой в первого, кто подойдет. И оттого, что Аракел так стоял, а он по прежней мальчишеской привычке хотел побежать, сразу вспомнил, что сегодня нельзя ни бежать, ни скрываться и в этом-то весь смысл того, что они вышли на улицу.

Лошадиные морды быстро приближались, мотались от натягиваемых поводьев. Толпа перед ними расступалась. Донеслась похабная ругань. Несколько человек, стоявших перед ним, отбежали, и в двух шагах от себя он увидел прижатое к ушам лошади большое белое лицо и над лицом — красный околыш фуражки и черный лакированный ремешок — к подбородку, по длинной щеке... Он не-

вольно отступил и наткнулся спиной на Аракела, и получилось, что он прикрыл Аракела, и в ту же секунду над головой его в небе взметнулась плеть, он ясно увидел ее, и плеть так и осталась навсегда в том чистом апрельском небе, и еще она запомнилась ему потому, что именно с этого момента — с того момента, как он отступил от лошади и увидел над собой плеть, а потом спину перерезал сваливший его удар,— именно с этого момента его словно сжали в судорожную пружину, и теперь все в нем только стремилось разжаться, и это уже не зависело от него; спасаясь от ног лошади, он прыгнул с земли, схватился обеими руками за шею лошади, повисая на ней, с силой выкинул вверх обе ноги и ударил ими в белое лицо казака. В тот же миг от страха, или от этой неожиданной тяжести на шее, или оттого, что невольно натянул поводья падающий казак, лошадь встала на дыбы и еще заржала, а он не отпускал стиснутые на шее лошади руки, и лошадь подняла его над толпой, а он в это время успел еще раз ударить ногами в залитое уже кровью лицо казака, и казак стал валиться с лошади, и он тогда тоже разжал руки и прыгнул на землю и потом чувствовал только освобождающую ярость своих ударов — сначала головой в живот какого-то полицейского, полицейский не успел даже крикнуть, задохнулся, скорчился, потом наотмашь — в чье-то бородатое лицо, и на миг перед глазами — большой открытый рот упавшего казака, и казак молча хватает этим ртом воздух, а потом на казака наваливаются, но раздался оглушающий топот, и свист, и крики, и он успел увидеть, что по Головинскому прямо на них мчатся казаки, еще издали свистят и кричат, распаляя себя для драки...

С Дворцовой уходили по узким переулкам. Аракел опять нес флаг под пальто.

На Солдатском базаре их ждали с утра. Аракел достал флаг. Пели «Варшавянку». Кто-то торопливо говорил речь.

Полицейские пришли скоро, но после того, что было на Дворцовой, их не боялись. Полицмейстер Ковалев просил:

— Добром прошу, господа, разойдитесь, очень прошу, господа, будет хуже!

Его перебивали. Миха оттолкнул его и стал говорить сам.

Потом стали разгонять, стреляли в воздух, били, связывали за спиной руки, увозили на извозчиках в полицейские участки.

Вечером все, кому удалось скрыться, собрались у церкви на Мтацминда, и Коба сказал:

— Надо напечатать прокламации. Рабочие должны знать, что они победили.

Вчера встретил Сталина в Кремле. Шел к Ленину и встретил Сталина. В коридоре. Сталин сказал: «А, Камо!..» И постоял, не поднимая головы. Ждал, что он скажет. Он ничего не сказал. Сталин посмотрел в сторону, усмехнулся и ушел.

В окне, в голубом небе горит купол храма. Скоро вечер. Ничего почти не написал. Владимир Александрович выругает.

Он с удивлением прочел только что написанную фразу: «У каждого свое небо». Вырвал страницу, скомкал, положил в пепельницу, машинально достал спички, поджег, аккуратно стряхнул пепел в стоящую у стола корзину, взял ручку и написал:

«Когда гроза утихла и стало светать, он прилег меж высоких трав и стал прислушиваться к голосам природы, к шуму потока, щебетанию птичек, вою шакала и видел постепенное пробуждение природы...» Слова приходили сразу и легко, и ему казалось, что он пишет о том, что пережил сам и теперь только вспоминает: «Наступила

ночь, он очутился в дремучем лесу, где скоро сбился с дороги и потерял из виду горные вершины, которые служили ему путеводной нитью. Куда бы он ни направлял свои шаги, всюду встречал девственный, темный, грозный лес. Он старался найти дорогу, влезая на высокие деревья и осматривая местность кругом, но повсюду видел тот же зубчатый лес. Он с отчаяньем и с болью в сердце упал на землю и стал тихо, тихо рыдать».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вчера Владимир Александрович пришел позже обычного. Соня играла на рояле. Он слушал, стоя спиной к ней и облокотившись на рояль, как стоят певцы на концертах. Певцы пели иногда и здесь, в этой комнате, на вечерах, которые устраивала Соня, и Соня им аккомпанировала. Ему нравилось, что во время пения они стоят спиной к ней и в то же время полностью от нее зависят; то, что они стояли спиной, только еще больше подчеркивало их уверенность в ней. Владимир Александрович задержался на лекции, был раздражен и устал.

— Я забежал только на минуту, чтоб не оставлять вас безработным на завтра,— сказал он, не снимая пальто.— И вот что я думаю: напишите-ка, дорогой мой, о Восьмом съезде! У вас это выйдет хорошо, во всяком случае, правдиво, все, как есть. То, что Ленин говорил о демобилизации, запомнили, а то, что тот же Ленин сказал об укреплении армии, не помнят! Спокойной жизни захотели! Революция закончена, бороться больше не с кем, нэп — вершина новой жизни, к нэпу еще немного электрификации — и рай земной!.. Впрочем, все это никакого отношения к вашему заданию не имеет. Ваше дело — коротко и правдиво описать то, что видели и слышали. Вы сами го-

ворили, что хотите написать. И нечего больше откладывать. Самое время! Ни в чем так не отрабатывается грамотность, как в том, о чем пишешь с ответственностью. Да, да, уважаемый, именно с ответственностью! Мы должны отвечать теперь за каждое слово. А иначе нас пошлют к чертям собачьим, и правильно сделают!.. Извините, Софья Васильевна, я не успел еще справиться с собой после лекции. Я сегодня читал в Политехническом о Восьмом съезде, и после лекции меня спросили, верю ли я сам в социализм?

— Интересно, как вы ответили,— сказала Соня.

— Я извинился за неудавшуюся лекцию!

Соня рассмеялась.

— Гордыня вас погубит, Владимир Александрович. Надеюсь, ваше извинение не приняли, все встали и стоя вам аплодировали?

— Нет. Меня высмеяли.

— Так вам и надо. Не рассказывайте публично о своих мечтах. И снимите наконец пальто. Без чая я все равно вас не отпущу.

О Восьмом съезде он хотел написать давно, но не решался, потому что надо было своими словами написать о том, что сказал на съезде Ленин. Если бы не Владимир Александрович, он бы и теперь не решился.

Он еще не перечитывал написанного, но все время, пока писал, и сейчас, закончив писать, чувствовал себя уверенно и легко, и было еще чувство опустошенности.

Он встал из-за стола, прошелся по комнате, подошел к открытой форточке, медленно вдыхая, поднял над головой руки, задержал дыхание, загоняя морозный воздух во все закоулки тела. Дышать его научил охранник в батумской тюрьме, еще когда его держали в одиночке. Это была его первая тюрьма, и судьба позаботилась, чтобы он с самого начала научился беречь здоровье. А в батумской

тюрьме, по ночам тоже было что-то вроде съезда, подумал он, только говорили шепотом...

Он сделал еще несколько движений, попрыгал на месте, сначала на одной ноге, потом на другой, потом на обеих вместе, аккуратно и четко разводя ноги в стороны, и, потирая руки, снова заходил по комнате. А насчет академии я подумал сразу, как только Ленин сказал об армии, вспомнил он.

Он стал читать то, что написал, как если бы вернулся на съезд, чтобы все снова увидеть и услышать: «Когда я подошел к площади имени Якова Свердлова, то первое, что обратило мое внимание, была надпись на фасаде Большого театра из красных электрических лампочек: «VIII Всероссийский съезд Советов». Часть сквера, прилегающая к театру, была окружена пешей и конной стражей. У входа в сквер часовые тщательно проверяли пропуска...» Выступление Ленина дальше... Это еще выступает Калинин... Это аплодируют, когда Ленин вышел на трибуну... Вот! «Главной идеей его речи был призыв к мирному строительству разоренной семилетней империалистической и гражданской войной страны и предостережение тем, кто мог бы подумать, что задача защиты социалистической родины от врагов внутренних и внешних уже решена...» И вот здесь я подумал о том, что надо поступить в военную академию. А об электрификации он сказал в конце... Вот: «В конце своей речи он предлагал выслушать со вниманием доклад тов. Кржижановского «Об электрификации страны», которая должна вывести социалистическую республику из промышленного и сельскохозяйственного кризиса и поставить ее в ряд с другими культурными странами. Притом он добавил, что коммунизм заключает в себе Советскую власть плюс электрификация...» В Германии уже есть электрификация, подумал он, и в Бельгии есть, и во Франции, и в других странах, и им теперь остается только прибавить Советскую власть. И для этого нужна

мировая революция. А мы за это время проведем электрификацию. Сколько надо для электрификации? Десять лет... Пусть двадцать, даже тридцать. Батумская тюрьма была в девятьсот четвертом. Почти двадцать лет назад. Двадцать плюс тридцать — пятьдесят. За пятьдесят лет от батумской тюрьмы до электрификации. И Мартов еще спорил с Лениным!.. В батумской общей камере тоже спорили. Сидели со всей России (в России не хватало тюрем), все политические, человек сорок...

Два квадратных решетчатых куска батумского неба не светились даже звездами — шли бесконечные батумские дожди. Темнота незаметно наполнялась ровными тихими голосами, потом голоса становились громче, спорили, раздавались выкрики, кто-нибудь испуганно просил говорить тише, говорили тише, снова спорили. В темноте не было ни стен, ни потолка, ни окон — были голоса, и за окном, по тюремному двору, шуршал дождь.

Больше всего говорили о расколе, о том, что Ленин хочет свести партию к боевой дружине, ни Мартов, ни Плеханов на это не пойдут, и раскол неминуем. Говорили и о том, что ни о каком расколе не может быть речи, и съезд работу закончил, и даже есть резолюции.

— А нам нужны не резолюции, сударь мой, а партия, и притом единая!

Говорили, что Мартов своей формулировкой о членстве отстоял, так сказать, интеллектуальный уровень партии.

— А иначе и не могло быть, иначе речь пойдет не о партии, а, извините, о ландскнехтах ордена крестоносцев!

— Позвольте, если не ошибаюсь, вы хотите свергнуть монархию? Дело вполне пристойное, можно сказать, благородное. Старушка история оглядывается еще со времен декабристов — кто наконец свалит смердящее древо? Так

позвольте спросить: как вы собираетесь сваливать древо? Рассуждениями и дискуссиями? Нет, господа, история учит: монархии свергают мечом. И для большей верности отрубают потом этим мечом монархам головы. А для этого нужен орден крестоносцев, и именно крестоносцев. Впрочем, можете называть их как угодно, даже якобинцами.

И — опять о расколе, о том, что ничего неожиданного на съезде не произошло, да и о каком расколе может идти речь, когда принята единая программа?

— Не юродствуйте, принята не программа, а пункт о диктатуре, и непонятно только, как Георгий Валентинович мог этот пункт принять!

— И на Плеханове есть пятна...

— Нет, извините, на Плеханове пятен нет, так-то, милостивый государь!

Говорили, что ничего принципиального на съезде не произошло, обычные тактические разногласия, без споров не рождается истина.

— Может быть, вы назовете и истину, которая родилась в этом споре?

— Извольте: единая программа и единый устав — не так уж мало, смею вас уверить.

— И не так много — член партии, принятый по Мартову, не сумеет осуществить диктатуру пролетариата, предусмотренную Лениным.

— Запомните, придете вы к свободному государству или не придете и какое оно будет, решается сегодня, сейчас, может быть, уже решилось.

Говорили и о том, что российская монархия сама осознает свою гнилость и сама хочет преобразовать себя в демократию, и надо только ей помочь. И поэтому нужен не меч...

— Мы все еще недооцениваем значение освобождения крестьян. А кто это сделал? Глава монархии, которая

держалась на крепостном праве. Знаете ли, что сказал царь, подписывая манифест? «Может быть, я не сумел бы этого сделать, если б не писания господина Тургенева». Нет, нет, господа, не надо рубить голову русскому монарху, уверяю вас! За нашей спиной, вот тут же, сразу за нашей спиной — тысячелетнее рабство. С такой оглоблей в демократию не влезешь... В этом все своеобразие нашей истории, если хотите — наше неповторимое лицо.

Больше всего спорили, когда речь заходила о русской монархии.

— Иначе говоря, вы предлагаете изготовить фарш из монархистов и демократов по рецепту Струве? Конституция, не посягающая на монархию? Этот каламбур удался пока только в Англии. У англичан хватило юмора не только для того, чтобы всерьез отнестись к собственной революции, но и чтоб взять на содержание собственную королеву. У нас же не хватает юмора даже на то, чтоб высмеять унылую интеллигентскую возню с бомбами, которую мы называем революцией. Мы лишены юмора от рождения, и от этого все своеобразие нашей истории, если хотите — и причина нашего дурного характера.

— Прекрасно! Вы осуждаете русский аршин за то, что он больше английского фута? С таким же успехом вы могли бы осуждать английский фут за то, что он меньше русской версты. Вы плохо учились в школе. Что мы имеем в России? Монархию, которая уже подпилила сук, на котором сидит. Да, да, я имею в виду освобождение крестьян — эту черту, с которой начинается новая русская история. Именно с нее, а не с революции, которую мы все с таким, я бы сказал, любопытством ждем. Нам просто скучно жить, господа, нам так скучно жить, что мы согласны даже на революцию. Нам нужна спокойная неторопливая демократия. Я бы сказал так: демократия, которая создает условия для демократии. Кого мы посадим в парламент, если завтра у нас будет парламент? Кучку бла-

городных идеалистов, от века именуемых русской интеллигенцией? Эта кучка ничего общего не имеет со своим народом. Люди, обреченные на одиночество в собственной стране! Несчастное порождение великого Петра, ослепленного своим могуществом настолько, что он позволил себе божественную забаву лепить из глины новых людей: из немецкой глины — русских интеллигентов! Кого они могут представлять? Нам нужны интеллигенты, которые могут представлять. Таковых у нас нет, господа, нет! Нужно время и условия для того, чтобы они появились. Условие есть — да, да, все то же освобождение, я по устану это повторять! Освобождение крестьян — главное и единственное условие для развития русской демократии. Теперь остается ждать. Нужно время. Нам нельзя торопиться. Это наш путь, единственный, на котором мы себя обретем. Нужно терпение. Нам всегда недоставало терпения, и в этом все наше своеобразие, в этом все комическое своеобразие нашей истории, и именно в нетерпении — основной недостаток нашего дурного характера.

С такой же страстностью говорили о том, что основной недостаток в терпении.

— Именно в терпении, в тысячелетнем, тупом, безмозглом, холопском, рабском терпении! Вот наша главная, и мерзейшая, и отвратительнейшая особенность! Вы хотите сделать из русского царя няньку, сидящую над колыбелью русской демократии? А нянька ставит пушки и стреляет в колыбель. Или еще лучше — вздергивает младенца на виселицу. Но и это еще не самое страшное, что делает русская монархия. А самое страшное, сударь мой, в том, что она уже не в силах вообще что-либо делать, даже в собственных интересах, даже в интересах самосохранения! И причина этой великолепной трагикомедии не в нетерпении, как тут изволили выразиться, а наоборот, в терпении, и только в терпении! Если б не это наше тупое русское терпение, мы бы давно уже отрубили русской

монархии голову и не довели бы ее до сегодняшнего смердящего гниения. Революция предотвращает гниение. Мы опоздали с революцией. Запах трупа уже идет от живых людей. У нас одна возможность искупить свою историческую вину, и только одна: смести с лица земли смердящие останки. Карфаген должен быть разрушен!

— Позволю вам напомнить, что все мы находимся в тюрьме. Вот и сметайте...

— Извините, это ровным счетом ничего не доказывает! Карфаген, как известно, призывал разрушить Катон, а разрушил его, как известно,— разумеется, тем, кому это известно! — разрушил его, с вашего позволения, Помпей.

— Катонов, милый человек, у нас хватает — помпеев нет. Где их взять? Нанять за денежки у иностранцев? Так ведь не дадут, когда узнают, для чего. Да и денежек где взять? Ленин чего хочет? Ленин хочет смести с лица земли и все такое. А Мартов чего хочет? Мартов сметать не хочет. Вот ведь какая штука! Оно конечно, Карфаген надо разрушить, а как армию собрать, ежели Мартов свое проводит? Ленин что говорит: хватит разговаривать и давайте свергать. Свергать царя — это работа. Идешь в партию — прежде всего работай. А Мартов что говорит: не надо работать. Пусть все желающие идут в партию. Чем больше, тем лучше. Думать научатся. А мы что говорим: пока научатся, думать будем мы. А что придумаем, то будем делать все вместе. Ежели, конечно, всем это понравится...

— А ежели не понравится?.. Извините, что перебиваю. Вы так доступно излагаете сложные проблемы российской действительности, я бы даже сказал — так первозданно!.. Ну а если все-таки не понравится? Делать из этого вывод о том, что вы ошибаетесь, вы, конечно, не будете. И не имеете права делать такой вывод — думать-то народ пока не умеет! И выходит, что если народу это и не

понравится, то, извините, это никакого значения иметь не будет. Он должен будет делать то, что вы для него придумаете. Для его же, так сказать, пользы! А если не для пользы? Если вы все-таки ошиблись? Кто вас остановит? Никто! И выходит, что вы не ошибетесь...

— О каких ошибках изволите говорить?.. История не ошибается, милостисдарь! Из ста решений стоящего у власти девяносто девять диктуется обстоятельствами. Ленин предлагает единственное, что может спасти Россию: диктатуру, опирающуюся на народ. Другой опоры в России нет. Русская буржуазия не выдержит натиска европейского капитала. А это означает, что вместо России мы будем иметь европейские колонии.

И опять возвращались к съезду.

— Нужен еще один съезд. И тогда или — или: или Мартов снимет в программе пункт о диктатуре, или Ленин изменит пункт о членстве в уставе...

— Вы забываете, что Плеханов тоже принял диктатуру Ленина.

— Недоразумение! Плеханов растерялся.

— Есть еще путь: каждый остается при своем пункте и создает свою партию.

— В таком случае либо мы превратимся в жалкую республику демократов-недоучек, либо — в державу рабов. Выбирайте!

Однажды, в разгар спора — кто-то опять говорил, что надо ждать и что все зло от нетерпения,— он не выдержал и крикнул:

— На таких терпеливых ишаках и держится этот ишачий мир!

Ему не ответили. Словно и не расслышали. А у него с этого момента, после того как он крикнул, снова возникло решение бежать.

О побеге он думал еще в одиночке и поэтому все четыре месяца требовал перевода в общую камеру — чтоб

получить право на прогулки. Но он не ожидал, что в общей камере будет столько людей. Слушая по ночам то, о чем они говорили, он радовался, что попал в тюрьму. Эти люди в камере, согнанные из разных мест незнакомой ему России, говорили о ее судьбе так, как будто сидели не в тюрьме, а на заседании сената. Он удивлялся тому, какие из их быстрых и ловких русских слов возникали интересные и сложные мысли, и ему доставляло удовольствие их понимать, а некоторые он узнавал, потому что думал об этом и сам. Потом разговоры наскучили — они повторялись, и слова уже не отделялись от лиц, которые он знал, и поэтому он почти знал и то, что каждый скажет. Постепенно это стало его раздражать — то, что сидят столько людей и только разговаривают. Он понимал, что ничего другого им не оставалось, как изживать в словах то, что накапливалось от вынужденного бездействия, и все-таки это раздражало его, особенно когда говорили, что главное — ждать, и поэтому он крикнул о терпеливых ишаках. И, может быть, оттого, что никто не обратил на него внимания, словно он сказал что-то глупое, в нем возникла злость к ним и к себе — за то, что потерял с ними столько времени, и он тут же вспомнил о побеге.

Пока он сидел в одиночке, в Батум из Тифлиса приехал Асатур Кахоян по кличке Банвор Хечо Борчалинский. Узнав, что он в тюрьме, Кахоян решил устроить побег. Батумский комитет запретил побег: несколько месяцев назад в Метехи застрелили Ладо Кецховели.

О решении Батумского комитета он узнал после перевода в общую камеру. Через охранника Ваню Бычкова. Бычков был из Саратовской губернии и жил в уверенном ожидании революции, после которой сумеет наконец вернуться домой,— поэтому копил деньги.

За окнами общей камеры, рядом, проходила тюремная стена. За стеной были двор мужской гимназии и улица.

Он запомнил все с первой прогулки. В одиночке прогулок не разрешали.

В одиночке просидел четыре месяца — все время, пока допрашивали. Допрашивал начальник батумского отделения жандармского полицейского управления Закавказских железных дорог ротмистр Станов, потом — полицмейстер города Батума капитан Чиковани, потом — помощник начальника Кутаисского губернского жандармского управления в Батумской области подполковник Шабельский. По требованию Шабельского в Гори допросили отца: когда сын уехал в Батум на поиски работы? Ответ отца Шабельский прочел ему на допросе: «Три года сына не видел, ничего о нем не знаю и знать не хочу!» Шабельский рассказывал, что о нем докладывали министру юстиции Муравьеву, Муравьев писал министру внутренних дел Плеве, а Плеве советовал представить дело на высочайшее усмотрение. И он тогда искренне пожалел, что не успел прочитать прокламации, которые вез и которые теперь прочтет сам царь. И сказал об этом Шабельскому. Шабельский пообещал дать один экземпляр после решения суда: прочтешь на каторге!

В общей камере на него не обратили внимания, но имя его знали, и он еле сдерживал себя, когда рассказывали о Камо. На Кавказе он уже был знаменит: уже были листовки в театре Артистического общества, во время представления «Гамлета», в тот самый момент, когда появился дух отца Гамлета и на сцене стало темнее от фиолетового света — то, что темнее всего будет, когда появится дух, предупредил Аршак Зурабов (Аршак — образованный, прочитал тысячу книг, ходил в театр, знал, в каком месте какой свет),— и он бросил пачку в люстру сразу, как потемнело, люстра на одном уровне с галеркой, и от нее в антракте на весь зал — свет, листовки от нее полетят тоже на весь зал, и так, через люстру связав себя с партером, бросил листовки, и на следующий день весь

город повторял фразу, которую сказала в театре какая-то дама ротмистру Лаврову,— ротмистр хотел отнять у нее листовку, а она почти ударила его листовкой по щеке и сказала: «Вы блюститель порядка, почему же вы это допускаете? Теперь, по крайней мере, дайте прочесть листовку!» — и, несмотря на все это и на переполох и усиленный теперь у театров наряд полиции, еще раз, в Казенном театре, на «Ромео и Джульетте», и листовки уже не в люстру, а на голову помощника Голицына Фрезе, и на следующий день слухи по городу: «В театре на Фрезе совершено покушение»; и еще листовки разносила по конспиративным квартирам пятнадцатилетняя сестра Джаваир, в татарском наряде, и он обучал ее, как ходят татарские женщины — торопливо, мелкими шажками, как будто все время уходят от преследования; и сам, такими же шажками, закутанный в чадру, разносил листовки рабочим, строившим новый мост через Куру, и железнодорожным рабочим в Нахаловке, и на Авлабар, и на Майдан, и на Солдатский базар; и была уже организованная им в Харпухах типография, на Сурпсаркисовской, в доме дьякона Осепа, который по его требованию обучал у себя хоровому пению, чтобы заглушить шум печатных станков; и еще одна демонстрация, для которой он нашел богатые похороны, а потом вместе с Асатуром Кахояном успел купить в караван-сарае на Эриванской кусок красного ситца и поднял вдруг над похоронной процессией красный флаг; и были уже поездки в Баку за «Искрой» и «Пролетариатис брдзола», которые печатались в знаменитой кецховелевской «Нине», и в Рион, и в Кутаиси вместе с Михой Бочоридзе, и по дороге в Рион на станциях надо было раздать газеты и листовки, которые они везли, а в Кутаиси сдавал все своему товарищу Барону Бибинейшвили и оставался там иногда на ночь, и обратно в Тифлис — уже с пустым чемоданом, спокойно, без риска, без билета, под лавкой, чтобы сохранить комитетские деньги,

и уже знали о нем и в Тифлисе, и в Кутаиси, и в Батуме, и знали, что его можно ждать в любом облике — князя, кинто, прачки, гимназиста, священника,— и его невозможно узнать, пока он сам этого не захочет; и с тем же Бочоридзе на Авлабаре, под домом рабочего Давида Ростомашвили, уже рыли подвал для типографии, и уже он ударил наборщика, который не мог избавиться от привычки петь вместе с хором наверху, в доме дьякона Осепа, а после этого наборщик перестал петь, и об этом уже тоже знали — о том, что он нетерпим и даже жесток, и Красин однажды в Баку так и сказал Кецховели,— он с пустым чемоданом ждал, когда ему принесут газеты, и услышал, как Кецховели в соседней комнате спросил: «Руководить ему еще рано, мальчишка?», а Красин ответил: «Этот мальчишка не прощает промахов и даже жесток!» — и рассказал историю с наборщиком, который пел; и знали уже о нем и то, что он не любит, когда его спрашивают, как он собирается сделать то, что ему поручают, потому что тогда ему казалось, что перестают верить в его неправдоподобную удачливость, а к тому времени у него были уже и свои ученики, и он обучал их яростному умению во что бы то ни стало добиваться удачи.

Арестовал его 27 ноября 1903 года на батумском вокзале рослый жандармский унтер-офицер Илларион Евтушенко. Заступил Илларион Евтушенко на дежурство, увидел человека в пальто, с чемоданом и корзиной в руках и сказал себе: «А давай-ка, Илларион, проверим!» И проверил. И счастливо рассказал потом об этом сам, по дороге в жандармское отделение. Он предложил унтеру пятнадцать рублей, потом — двадцать, потом — двадцать пять, все, что у него было. Унтер двадцать пять рублей взял, привел его в жандармскую комнату и сдал жандармскому ротмистру. И двадцать пять рублей сдал. И ушел. Ротмистр стал допрашивать.

Это был его первый арест. В январе того же года он

вез александропольским поездом две тысячи прокламаций и листовок. Кто-то обратил внимание на тяжелый чемодан. Двое жандармов вежливо предложили взять чемодан и вынести в тамбур. В тамбуре попросили открыть. Он растерялся и открыл. Они радостно присели перед открытым чемоданом. Неожиданно для себя — просто оттого, что увидел вдруг рядом у самых своих рук две жандармские головы и не успел преодолеть мальчишеского искушения,— еще не приняв никакого решения, схватил обоих за шиворот и ударил головами. Они успели обернуться, и он увидел их удивленные оглушенные лица, и у одного уже закатывались глаза, и вдруг, поняв, что это спасет, еще раз — с силой, с торжествующей яростью, головами! — и показалось, что головы лопнули от удара, распахнул дверь и прыгнул в черное грохочущее пространство, выбросив вперед руки, как прыгал с горийского моста в Куру. Уже скатившись с насыпи и с удивлением встав на ноги, пожалел, что оставил в тамбуре чемодан.

В общей камере на нарах рядом лежал парень лет восемнадцати. У него были большие спокойные глаза, и на груди под тюремной рубахой висел крест. Парень рассказал, что его арестовали за участие в стачке на заводе Пассека. И сказал, что его зовут Иван Певцов. А он потрогал на груди у парня крест и спросил:

— Ты что, Певцов, веришь в бога?

— Верую,— сказал парень и стал ждать, о чем он спросит еще.

Он спросил:

— Веришь, что все бог создал,— для чего тогда стачка?

Певцов помолчал и вдруг обстоятельно рассказал о своей вере. Бог через плохое свою волю посылает. Сначала учит — вот десять заповедей: это — плохо, это — хорошо. Потом посылает плохое: вот тебе плохое — что станешь делать? Подчинишься плохому — нарушишь запо-

едь, не выполнишь волю божью, не подчинишься — выполнишь заповедь, выполнишь волю. Стачка — воля божья.

Певцев его удивил. Певцев напомнил то, о чем он иногда думал сам. Коба как-то сказал: «Человек должен верить в свою правоту. Это освобождает». Верил Коба в свою правоту?.. Певцеву легко, он от десяти заповедей танцует. А без заповедей?.. Однажды сидели у Ханояна, на Хлебной площади, в квартире, где собирался Тифлисский комитет — Аршак Зурабов, Коба, Бочоридзе, Рамишвили, еще несколько человек. Аршак рассказывал об Ульянове, брате Ленина, которого повесили за то, что он готовил покушение на царя. Вдруг пришел Ной Жордания. Жордания приходил редко — только на заседания комитета. В тот вечер он увидел впервые Жордания — с львиной гривой, с пронзительными неподвижными глазами. Жордания заикался.

— Ленин х-х-хочет д-довести до к-конца то, что н-начал брат. Ленин г-г-готовит всен-н-народное пок-к-кушение н-на царя.

Коба усмехнулся.

— А вы не доведете до конца и того, что начали сами.

Жордания спокойно спросил:

— Ч-ч-чего именно?

— Революцию,— сказал Коба.— Вы заложите ее в национальный банк, на проценты.

— Ош-ш-шибаешься,— сказал Жордания.— Мы с-спасем р-революцию от без-з-зродных голодранцев в-вроде т-т-тебя.

Коба рассмеялся. Жордания потом выступил со своей программой и требовал создания отдельных национальных комитетов, его не поддержали. (Жордания поехал на съезд сам. Без права голоса.)

О том, что па съезде должны принять программу и устав и что по этому поводу между Лениным и Марто-

вым есть разногласия, он уже знал, но о том, что произошло на съезде, узнал в общей камере.

За несколько дней до побега, утром, он присел на нары Певцева и рассказал, как верил в детстве в бога — ходил в церковь, помогал матери тайком от отца раздавать милостыню.

— А отчего перестал верить, знаешь?.. Отец пил, с женщинами путался, бил мать. Мать терпела, в бога верила — чем все это кончилось? Умерла — на гроб денег не хватило. Тоже воля?! Плевать на такую волю!

Певцев молча смотрел на него большими спокойными глазами, казалось, слушал глазами. Тихо, словно про себя, спрашивал:

— А правота откуда? Правоту откуда взять? Веру-то, веру где взять без бога?

— Правота что такое, Певцев? Все умные слова говорят, а кто прав? Один священник в Гори учил: кто ближе к богу, тот и прав. А кто ближе к богу? Христос — и что с ним сделали? Руки-ноги гвоздями к кресту прибили, целый день под солнцем на гвоздях висел, мухи жрали!

— Христос сам пошел на крест, он знал, что так надо.

— Кому надо? Откуда Христос знал, что надо?

— Верил... Правота от бога.

— Я тоже верю: надо царя скинуть. Надо драться, надо изменить этот собачий мир — вот и вся вера!

— Мир — божий. Изменить его может тот, кому божья воля будет.

— Хорошо, ты сиди здесь и жди!..

— Ты тоже сидишь.

— Я убегу!

— Будет воля — убежишь.

— Запомни: я — убегу! Еще запомни: что сделаешь, то и будет. Пока жив, нет такой вещи, которой не можешь. Запомнил? Теперь иди, молись!..

С Певцевым он говорил каждый день. До самого дня

побега. Почему-то ему надо было, чтоб Певцев перестал верить. Он требовал, чтоб Певцев возражал. Певцев слушал — больше слушал, вдруг отвечал одной фразой, тихо, испуганно, будто и не ему вовсе, а самому себе.

— А как же без бога? Где смелости столько взять, чтоб посреди мира, без бога, одному?

Он сдерживался, говорил медленно, искал русские слова:

— Мать моя верила, верила, верила... И вот нету ее! Совсем нету, понимаешь? Где она? Почему она умерла? Верила, что так надо?! А что надо, знаешь? Убить таких, как мой отец, а таких, как моя мать, всех собрать и сказать: вы терпели, мы не терпели — кто прав?

Певцев смотрел на него тихими грустными глазами, молчал, думал о чем-то своем. Он хватал Певцева за ворот рубахи, яростно, задыхаясь, шептал:

— Ты о своей матери думай! Что она сейчас делает, знаешь? Плачет! Мои сестры тоже плачут. Думаешь, я не могу моих сестер накормить? Не хочу! Не хочу, чтоб они в этом ишачьем мире сыты были! А кто других накормит, знаешь? Бог?! Нету бога! Раз моя мать умерла, нету бога! Понял?! Никто ничего не сделает, если ты не сделаешь! Понял?.. А теперь иди, иди молись!

В день побега с утра шел дождь. Бычков накануне принес записку от Кахояна: Батумский комитет еще раз запретил побег. От себя Кахоян прислал двадцать рублей. Он отдал двадцать рублей Бычкову — Бычков выпустит его по надобности, а потом забудет, что выпустил. Больше от Бычкова ничего не требовалось. Бычков согласился.

Выходя из камеры, он попрощался с Певцевым.

— Дай тебе бог! — сказал Певцев.

Он перебежал тюремный двор, когда охранник на башне отвернулся — на миг отвернулся, и в тот же миг он пронесся вдоль стены тюремного здания, забежал за угол,

куда выходили окна камеры, не останавливаясь, с разбегу прыгнул, схватился крючьями согнутых пальцев за решетку и, не теряя инерции, продолжая прыжок, с силой выбросил себя за стену. Упал, прижавшись к земле. Охранник на башне не крикнул и не выстрелил. Донесся гудящий топот сапог. Он посмотрел туда, откуда донесся топот, увидел длинную пустынную улицу и понял, что через мгновение из-за угла появится отряд солдат. Он присел на корточки, не вставая, прыгнул, цепко, по-кошачьи схватился за край стены, вбирая в руки все тело, мгновенно подтянулся, навалился на верх стены, перебросил ноги и спрыгнул обратно во двор тюрьмы. Не торопясь, отряхнул рубаху и брюки, протер краем рубахи мокрое от дождя лицо и прошел в клозет. Уже входя в сопровождении Бычкова в камеру, слышал гудящий за окнами топот сапог. Певцев подсел к нему и, не зная, как успокоить, сказал:

— Ты схватился руками за решетку, я видел...

Он не ответил. Певцев отошел.

Наутро он потребовал, чтоб его отвели к врачу. Охранник, сменивший Бычкова, сказал, что здоровых к врачу не водят. Он стал объяснять, что болел малярией и чувствует приближение приступа, потом им же придется возиться. Охранник сказал:

— Хватит болтать!

Кто-то крикнул:

— Не имеете права оскорблять!

Охранник спросил:

— А что я сказал?

— Вы сказали: болтать.

В конце концов охранник извинился и отвел его к тюремному врачу. Врач дал разрешение на дополнительные прогулки.

Потом он стал дрессировать поросят. Поросята принадлежали начальнику тюрьмы. Они бродили по тюрем-

ному двору и чувствовали себя на свободе. На них смотрели из окон камер и со сторожевых башен. Он провозился с поросятами около месяца и научил их по команде кувыркаться, ложиться на спину и визжать.

Однажды поросята стали кувыркаться. Солдат на башне смеялся. Дождя не было. Он медленно, прогуливаясь, прошел до угла тюремного здания (к тому, что он гуляет один по двору, уже привыкли), зашел за угол — туда, где его уже не было видно, постоял, прислушиваясь к визгу поросят, легко, уверенно прыгнул, схватился за прутья оконной решетки, повис на руках, глядя сверху за стену, увидел стоящего у стены на улице Бычкова (Бычков подал знак), посмотрел сквозь решетку в темноту камеры, спокойно, негромко сказал: «Не забудь помолиться, Певцев!», прыгнул на стену, но не удержался и упал со стены на Бычкова. Бычков от удара присел, тут же вскочил, бросил ему плащ и убежал.

Он лежал на булыжниках и ждал крика охранника. Из-за стены доносился визг поросят. Пошел мелкий щекочущий дождь. В конце улицы показался извозчик. Он быстро встал, надел брошенный Бычковым плащ, пошел навстречу извозчику, по-барски, едва заметным жестом остановил его, впервые за десять месяцев сел на мягкое, глубоко пружинившее сиденье под низкий, уютно шелестящий под дождем верх, назвал адрес Хечо Борчалинского, предупредил, чтоб извозчик ехал не торопясь, и закрыл глаза. Ничего не было, подумал он, ни одиночки, ни общей камеры, ни охранников...

Потом его удивило, что он не ждет погони. Он высунул голову под дождь и оглянулся — улица по-прежнему была пуста. А может быть, Певцев прав, подумал он, надо, чтоб я убежал?.. Почему тогда не убежал в первый раз? Тогда не надо было?.. Чепуха! Все дело в поросятах. Он рассмеялся. Извозчик слегка обернулся, думая, что он обратился к нему, и ждал, что он скажет.

Он спросил:

— Ты в бога веруешь, отец?

Извозчик отвернулся и хлестнул лошадей.

Вчера, когда Владимир Александрович собрался уже уходить, Соня спросила:

— Владимир Александрович, а вы любите Баха?

— Люблю ли я Баха? Софья Васильевна, голубушка, говорите проще.

— Мне кажется, Бетховена вы любите больше, чем Баха.

— Соглашаюсь, чтоб не нарушать течения вашей мысли. Так что из этого следует, позвольте полюбопытствовать?

— Течение моей мысли зависит от вашего ответа — кого вы любите на самом деле?

— Если я отвечу: Баха, я спутаю все ваши карты?

— Конечно.

— В таком случае, я люблю Бетховена.

— Очень великодушно, но вы действительно любите Бетховена.

— Что ж, уважаемая, извольте: я люблю Бетховена, я не приемлю этот трагический незыблемый вечный баховский мир, да, да, я, так сказать, оспариваю создателя, если угодно, вообще посылаю его ко всем чертям! Извините... Одним словом, я — революционер. Что вы имеете против этого возразить? Кроме того, что вы, конечно, больше любите Баха.

— Владимир Александрович, революция уже сделана, наступило время для нормальной жизни.

— Ошибаетесь, голубушка, нам еще будут мешать. Нам будут все время мешать. Пока не произойдет мировая революция.

— И вы собираетесь до мировой революции жить на баррикадах?

— У нас нет другого выхода, уважаемая Софья Васильевна.

— А вас не останавливает, что все остальные — я имею в виду наших соотечественников — предпочитают жить не на баррикадах, а в удобных квартирах?

— Прекрасная женская логика! К сожалению, мир, достойный этой логики, еще не создан.

— Хотите создать его на баррикадах?

— С вашего разрешения!

— Вот что значит любить Бетховена больше, чем Баха!

— Ваш Бах дальше религиозного самопостижения не идет.

— А вы хотите пойти дальше самопостижения?

— Грешен!..

— Послушайте, Владимир Александрович, вам нет и пятидесяти — влюбитесь! По-моему, все дело в том, что у вас до сих пор не было времени влюбиться.

— Видите ли, милая Софья Васильевна, я действительно ухлопал массу времени. Особенно — на тюрьмы. Единственное успокоение, что я его никогда не терял на себя.

— Еще бы, терять на себя то, что предусмотрено на тюрьмы!.. А теперь, когда тюрьмы не угрожают, вы будете успокаивать себя тем, что строите государство — опять же, чтоб не терять время на себя?

— Послушайте! Нам действительно прежде всего надо построить государство! И как можно скорее, срочно!.. И учтите — нам никто не станет помогать. Больше того, на нас еще нападут. Нам нужна армия, хорошо, современно вооруженная армия! А для этого нужна промышленность, да, да, голубушка моя Софья Васильевна, вот такая грубая конкретная проза государственной жизни: промышленность, металлургия!.. Вы не знаете, где их взять? Я тоже не знаю. И ни Бах, ни Бетховен нам не

номогут. А поможет электрификация! Так-то вот!.. Напишите, напишите о Восьмом съезде, молодой человек, напишите о том, что такое для нас электрификация и что такое для нас армия! Армия нужна, чтоб создать электрификацию, а не наоборот. Ленин очень точно об этом сказал: частичная демобилизация и электрификация. Малейший перегиб опасен. Он уведет от цели, а самое трудное, уважаемый Камо,— это уберечь цель от самих себя. Особенно когда борешься с перегибом. Когда борешься с перегибом, труднее всего не перегнуть самому. Может быть, сегодня именно это меня и подвело...

После его ухода Соня сказала:

— Его подвела интонация: у него все еще одни восклицательные знаки, а наступило время вопросов.

Она помолчала, долго смотрела в темное вечернее окно с редкими огнями Кремля.

— Сыграй что-нибудь Бетховена,— попросил он.— А потом — Баха. Я хочу понять, о чем вы спорили.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Иногда он часами смотрел на стены — не на фотографии и не на картины отдельно, а на все вместе и на то, что было за окном,— разноцветные крыши, ветки деревьев, Боровицкая башня — все это тоже становилось частью стены, и старинный, полустертый рисунок обоев все связывал. Казалось, перевесь фотографию, шевельнись — и все нарушится, и он сидел неподвижно, боясь шевельнуться, чтоб не потерять это цепенящее, пронизывающее ощущение единости. Потом, когда это проходило, он думал о том, что же это было? Показалось ему или все на самом деле едино, и он только иногда начинает это чувствовать? Раньше не чувствовал. Ничего такого вообще раньше с ним не происходило. Все оттого, что целыми днями вот так сижу... Как в тюрьме. Нет, в тюрьме всегда думал о

том, что надо убежать. И в Берлине, и в Метехи, и в Михайловской больнице... Сейчас ни о чем таком не думаю. Ничего не надо делать. Надо только что-то открыть, какой-то клапан внутри — и все само входит в тебя, и это уже не зависит от тебя, а остается только чувствовать, как это с тобой происходит, и можно еще думать о том, что ничего такого раньше не происходило, да и не могло происходить, потому что терпеть не мог бездействия. Главное до сих пор было одно: принять решение и тут же привести в исполнение. Без раздумий. Будешь раздумывать — придет страх. Теперь надо думать. О чем? О Пушкине, цыганах, царе Иване, каком-то опричнике, о том, что было за эти двадцать лет, об этой стене... Для чего? Это называется образованием! Сидишь и думаешь. И все происходит не снаружи, а внутри. Какой в этом смысл? Смысл только в том, что делаешь снаружи, для того, чтобы лучше стал этот мир. В чем смысл того, что делаешь внутри?.. Внутри все делаешь для себя. Как будто и не сам делаешь, как будто кто-то лезет в тебя — твоя же ожившая в тишине память, и эти окружающие со всех сторон старые вещи, и эти фотографии, и все эти алеко, онегины, мцыри, плюшкины, и слова, слова, и эта стена, и окно на стене, и обои на стене... Для чего все это? Сколько образованных было в батумской тюрьме, говорили, как министры, а что толку?.. Толк — в деле. Побеждает тот, кто делает дело. Ленин делал дело и победил. Тогда для чего книги? Все начнут думать, каждый будет доказывать свое. Все уже было. Если бы не Ленин, так бы до сих пор и болтали. Теперь Ленин сам говорит: надо читать... Для чего читать, если все ясно?

Однажды он уже об этом спросил. Это в тот вечер, когда все были здесь. После того, как Горький сказал насчет птиц — о том, что здесь раньше жили синицы, а он сказал: а теперь живу я, только петь не умею, и Горький сказал: научим и прибавил: для того и революцию дела-

ли! — а он удивился и, не замечая, сказал вслух то, о чем подумал:

— Революцию делали, чтобы петь?

Горький рассмеялся и сказал:

— А вы думали, революцию ради самой революции делали, мой дорогой Камо? Революция для того, чтобы все научились петь, именно петь.

Горький, конечно, вкладывал в это слово «петь» свой особый смысл, но он не решился спросить, о чем Горький говорит, а Ленин вдруг серьезно сказал — то, что и до этого много раз говорил:

— Надо читать книжки! Да, да, революция прежде всего для того, чтобы все могли читать книжки.

И он снова не решился спросить то, чего не понял: для чего книжки, если все ясно?.. Что-то, значит, остается неясным — даже для Ленина. Что? То, что происходит сейчас с этой стеной? Или — со мной? Какое это имеет значение? И что изменится от того, что я это узнаю?.. Что-то тут я опять не понимаю, подумал он, может быть, потому и не понимаю, что не читал... И опять вспомнил батумскую тюрьму — как в общей камере по ночам под шум дождя невидимые в темноте люди говорили о том, что ждет Россию; никогда больше потом ему не приходилось слышать сразу столько разных и противоположных мнений. И каждый считал, что он прав. Дело, конечно, не в том, что считает каждый. Но в чем? И почему Ленин все время говорит о книгах? Мать говорила: посмотри на отца, Сенько, сила душит его, он не знает, как ее выпустить, а учеба что такое — это сила из тебя спокойно выходит, учеба спасет тебя, Сенько! Мать боялась отцовской силы — той, что внутри... Жизнь зависит от того, что внутри человека? Для чего тогда революция? В пятом году во время армяно-татарской резни было братание армян и татар. Хотели остановить резню. Братание могло остановить резню? Братание — от того, что

внутри человека, а от чего резня?.. Комитет поручил тогда ему и Орджоникидзе бросить прокламации — чтоб превратить братание в демонстрацию против наместника.

Во дворе Ванкского собора стояла толпа татар. Из открытой двери церкви доносилось пение женских голосов. Серго спросил:

— У армян как крестятся — слева направо или справа налево?

Он коротко перекрестился и ответил:

— Слева направо.

— У тебя такое лицо, как будто ты сейчас молиться начнешь! — сказал Серго.

— А ты хочешь, чтоб я «Варшавянку» здесь пел?

Он узнал патарак, который пели в горийской церкви. Мать ставила девять свечей: за пятерых оставшихся в живых детей, за отца, за себя, за сестру Лизу и ее мужа Гевурка Бахчиева, который им помогал. Потом становилась в углу, у алтаря, почти прижавшись лицом к стене, как стоят наказанные ученики, и стояла так долго и неподвижно. Однажды он ее спросил:

— У тебя глаза открыты, когда ты там стоишь, или закрыты?

Она удивилась и ответила:

— Не знаю, Сенько.

Из церкви стали выходить, впереди шел епископ, за ним — несколько священников и дьяки. Посреди двора епископ остановился, воздел руки и стал по-армянски благословлять татар. Маленький старик в чалме поднялся на каменное основание ограды и, держась одной рукой за решетку, другую стал раскачивать над головой и нараспев по-татарски обратился к толпе.

Епископ пошел к ограде — туда, где стоял мулла. Толпа испуганно расступалась. Серго обернулся по сто-

ронам и неторопливо, чтоб все видели, три раза перекрестился. Епископ подошел к мулле. Мулла протянул ему руку. Епископ обнял муллу. Толпа ахнула. Какой-то татарин в бараньей папахе вскочил на основание ограды, сорвал папаху и вдруг по-армянски стал проклинать тех, кто убивает друг друга в Баку и Елизаветполе. Женщины запричитали.

Толпа во дворе церкви увеличивалась. Мелькали гимназисты. Они ждали сигнала — первыми должны были бросить листовки он и Серго. Женские голоса пели все тот же горийский патарак... Как-то весной, еще до батумской тюрьмы, он забежал сюда, в Ванкский собор, когда за ним шел ротмистр Лавров. Что-то ротмистру показалось подозрительным, вероятно, набухшее от листовок пальто, да и само пальто — весной в Тифлисе... Он сутулился, чтоб спрятать выпиравшую грудь, но было поздно. Лавров быстро пошел за ним, а он свернул за угол и побежал и вдруг увидел двор и двери церкви — надо было скрыться, прежде чем Лавров выйдет из-за угла, и он забежал в церковь. Службы не было. Высокий, худой священник в черном что-то поправлял у алтаря, на гул шагов не обернулся. Он прошел в угол алтаря и стал лицом к стене — не для того, чтобы спрятать лицо (так странно стоящий у стены, лицом к стене, как раз мог вызвать подозрение), а машинально повторяя то, что делала мать, потому что с того момента, как он вошел в этот гулкий полумрак, перерезанный вверху клубящимися снопами света, и запах ладана и воска, и тусклое свечение алтарного золота, и долгое взлетание к гулкому куполу каждого шага — словно бежал по краю пропасти, вдруг сорвался и не упал, и пространство подхватило его,— с этого момента он словно увидел мать, узнал — по чувству благости, которое вызывала только она, и он уже все делал потом, подчиняясь этому чувству и не думая об опасности, от которой только что бежал, и поэтому

прошел к алтарю и стал у стены, лицом к стене, и стоял так долго и неподвижно, как стояла мать.

Из церкви выходили с зажженными свечами. Был ветер, и во дворе свечи гасли. Хор в церкви смолк. Епископ и мулла стояли рядом, обняв друг друга за плечи, и по очереди говорили, обращаясь к толпе. Их не слушали. Громко, запрокидывая головы, запели во дворе дьяки. Священники стали что-то выкрикивать. Один из них быстро, не давая опомниться, обнял кого-то в чалме, потом — второго, третьего, торопливо, с отчаяньем, словно боясь не успеть обойти всех. За ним стали обнимать татар другие священники. Какая-то старуха схватила руку Серго и стала целовать. Серго испуганно выдернул руку, а она плакала и о чем-то просила. Коренастый человек в плотно застегнутой до горла черной визитке вскочил на основание ограды и, обливаясь потом, кричал:

— Все идем к богу! Каждый идет к богу своим путем. Но тот, кто убивает, тот не идет к богу!

С другой стороны, у ограды, тоже поднявшись на ее основание и держась одной рукой за решетку, стоял огромный человек в рваной черкеске, клялся в братстве и вечной любви, а потом достал из ножен кинжал и стал его целовать. Как-то в Гори, после церкви, мать сказала — его удивила тогда убежденность, с которой она это сказала:

— Наступит, Сенько, наступит, наступит божье царство!..

Серго шепотом, в ухо спросил:

— Чего ждем?

И он сразу и очень ясно понял, что ничего не ждет, а боится нарушить то, что происходило во дворе.

Снова запел женский хор.

Он коротким, бешеным движением вырвал из-за пазухи листовки и стал протискиваться сквозь толпу, неза-



метно раздавая их. Серго пошел за ним. Он услышал, как Серго громко сказал:

— Патриарше благословение!..

Потом он дошел до ограды, поднялся на каменное основание, увидел перед собой сразу весь двор, тесно забитый головами, молча, с силой бросил над головами вверх пачку, за ней — вторую, третью, четвертую — все, что у него было, и со всех сторон над толпой стали взлетать листовки — это бросали гимназисты, а Серго весело выкрикивал:

— Патриарше благословение!

Листовки были на трех языках — грузинском, армянском и русском, их хватали на лету, шумно, по-детски радуясь, женщины прятали их, некоторые целовали, прежде чем спрятать.

Он крикнул:

— Надо идти на Головинский, к дворцу наместника! Хватит молиться!

Серго протиснулся к нему и встал рядом. Кто-то схватил Серго за пояс, хотел стащить. Серго ударил его.

Хор еще некоторое время звучал, потом смолк.

Голоса и крики во дворе стали тише, казалось, без пения все растерялись и теперь, в тишине, чего-то ждали. Стало слышно, как маленький мулла громко, нараспев призывает идти к мечети. Один из гимназистов взобрался на ограду, сел, просунув ноги между прутьями решетки, и, напрягая хрупкий ломающийся голос, читал листовку:

— Вы, армяне, татары, грузины, русские! Протяните друг другу руки, смыкайтесь теснее и на попытки правительства разделить вас единодушно отвечайте: долой!

Кто-то снизу, из толпы выхватил у него листовку. Гимназист пнул его ногой, а тот, падая, схватил гимназиста за ногу и стащил на землю. На парапет ограды поднялся человек в черной визитке, громко, четко сказал:

— Спасайтесь от самих себя! Беда в нас самих, в нашем невежестве, в предрассудках! Правительство делает все, чтобы предотвратить...

Его хотели столкнуть, но он удержался, схватился обеими руками за решетку ограды и торопливо выкрикивал:

— Идите в Сиони, идите на татарское кладбище, клянитесь друг другу в вечном братстве!..

Епископ что-то сказал молодому священнику, и тот стал пробираться к дверям церкви. Потом в церкви снова запели женские голоса. Раздались рыдания. Над толпой появился человек в замасленной куртке — он сидел на чьих-то плечах и кричал, подняв руки:

— Рвите листовки! В них — гнусная клевета! Она рассчитана на то, чтобы разжечь ненависть к правительству и вашими руками захватить власть!..

Человек в куртке стал клониться вперед, вытянул руки и схватился за головы стоящих рядом, но не удержался и медленно сполз в толпу, головой вниз. Епископ и мулла, перебивая друг друга, звали идти к мечети и на татарское кладбище. Толпа двинулась к выходу. Серго с ненавистью сказал:

— Пение на них действует сильнее, чем правда!

Он подумал: может быть, Серго тоже о матери вспомнил?.. Вслух он сказал:

— Пение — тоже правда. Раз действует... Надо вместе с ним действовать.

У Сионского собора присоединились грузины и русские. И здесь клялись в братстве, обнимали друг друга и плакали, и из собора доносился громкий отчаянный хор певчих. Епископ обнял маленького муллу и армянского епископа и тоже звал идти к мечети и на татарское кладбище.

С утра было пасмурно; когда подошли к мечети, выглянуло солнце. Засияли лазурные кружева минарета,

Ослепительно сверкала Кура. Епископы и мулла шли впереди. Перед ними несли иконы из Сионского собора. У Ишачьего моста стояли полицейские. Толпа заполнила мост. Полицейские сгоняли с моста:

— Провалится мост, господа, утонете, под мостом — водоворот!

Татары не понимали по-русски, хватались за перила, армяне им объясняли по-татарски, тащили с моста на Майданскую площадь. С противоположной стороны площади, из церкви Сурп-Геворка и мечети, что стояла над серными банями, спускалась еще толпа. Площадь заливал солнечный свет. По голубому небу неслись клочья белых облаков. Дул сырой февральский ветер.

Маленький мулла и второй, повыше, в большой белой чалме, который встретил толпу у мечети, о чем-то совещались с епископами у дверей мечети, потом, раздвигая толпу, их повели на середину площади. На высоком противоположном берегу Куры, в решетчатых окнах Метехской тюрьмы виднелись лица арестантов. Гладкие стены тюрьмы и окна озарял солнечный свет. Глядя на Метехи, он каждый раз представлял в одном из этих окон свое маленькое булавочное лицо.

Перед татарским кладбищем, на пологом склоне, стояли женщины с распущенными волосами. Увидев толпу, завыли, визгливо выкрикивали непонятные слова, падали на колени, превращаясь в черные раскачивающиеся пирамидки. Толпа стала на краю кладбища, внизу, вдоль крутого откоса, которым склон обрывался к чахлой речке Дабахапке. Женщины замолкли. В тишине доносился шум водопада из Ботанического сада... Говорили по-татарски и по-армянски, задыхаясь, не успев отдышаться после крутых улочек, по которым поднимались.

Еще по дороге на кладбище он увидел татарских мальчишек — они стояли на плоских крышах, а вокруг них бродили голуби. Мальчишки пришли с толпой на клад-

бище, и он заметил, что голуби были теперь у них за пазухой. Он собрал их, поднялся с ними по склону, обойдя кладбище сверху, и оказался над толпой, стоявшей у нижнего края кладбища. Потом мальчишки стали выкидывать в небо голубей и свистели, и все стоявшие внизу подняли головы и смотрели, как летают голуби. Раздались свистки, подгоняющие голубей, и он сначала подумал, что это, вероятно, гимназисты, а потом решил, что, может быть, и не гимназисты; после того, что было во дворе Ванкского собора, все только повторялось — и в Сиони, и у мечети, и здесь, на кладбище, и поэтому взлетевшие вдруг голуби могли даже обрадовать. И он опять стал кричать, что надо идти на Дворцовую — хватит молиться и зря болтать, а надо идти к наместнику, и пусть он скажет, кто устроил резню в Баку и Елизаветполе. В ответ засвистели еще громче, и несколько голосов тоже крикнули, что надо идти на Дворцовую.

Потом быстро, гулко шли опять по тесным улочкам вниз и мимо второй мечети, с долгой глухой кирпичной стеной, над которой торчала хрупкая башенка минарета, и голоса сливались в звенящий грохот, а на крутых поворотах почти бежали, и в узкие просветы между крышами и стенами врывались снизу купола зарывшихся в землю серных бань, похожих на женские груди. С Майдана, не останавливаясь, шли по Армянскому базару, плотно заполняя мостовую и тротуары, а на Эриванской разлились сразу по всей площади до самого караван-сарая и медленно, сплошным телом двинулись на Дворцовую. Серго успел купить в караван-сарае кусок красной материи, а он сломал тонкую гибкую ветку платана в Пушкинском сквере перед караван-сараем, и красный флаг на этой ветке потом гибко раскачивался над толпой.

На Дворцовой неподвижно стояли на тротуарах полицейские. Их оттиснули, и потом они стояли, прижавшись

к стенам домов. Окна дворца были зашторены мелкими нарядными волнами белых занавесок. Занавески возмутили его, как будто кто-то повернулся к нему нарядной роскошной спиной, а может быть, это взорвалось в нем все, что накапливалось за этот странный напряженный день, но именно после этих занавесок, после того, как он увидел их аккуратную презрительную невозмутимость, он вдруг и неожиданно для самого себя стал говорить сначала что-то бессвязное и быстрое, словно и не говорил еще, а только разбрасывал слова, которые ему понадобятся, и поднял еще выше флаг, схватив тонкую ветку за самый конец, и флаг теперь упруго, с силой метался из стороны в сторону, и это было как если бы металась его не находившая себе выхода ярость. Потом он взлетел над толпой и не сразу понял, что его подняли, и ноги его стояли теперь на чьих-то плечах, и он, уже не узнавая своего голоса, не останавливаясь, выкрикивал странно и легко приходившие слова о революции, народе, резне, царе, демонстрации 22 апреля, Аракеле Окуашвили, о том, как нес Аракел флаг и как он шел за ним, чтоб подхватить флаг, когда Аракел упадет, и о дашнаках и грузинских федералистах, и о нациях вообще, о том, что нет вообще наций, и скоро ни дашнаки и никто другой не сумеют отделить один народ от другого, потому что грузин женится на армянке, и армянин — на татарке, и армянка выйдет замуж за русского и черкеса, и дети их уже будут не русские, не грузины, не татары, не армяне и не черкесы, а все смешаются и станут одним народом, но для этого надо сначала скинуть царя и всех других, кто разделяет народы и натравливает один народ на другой... А что такое царь? Рыжий дурак — как на портретах! Чего он хочет? Ничего не хочет! Сидит на своем кресле! Кресло его черви кушают, а он сидит! На мою жизнь, говорит, хватит, а там — будь что будет! А что будет? Помойная яма будет! Публичный дом будет! Наши

сестры проститутками станут! И наши матери перестанут молиться, когда это увидят, они забудут слова своих молитв и будут проклинать себя за то, что учили нас молиться, а не драться, за то, что родили послушных ишаков, а не людей. Что ишак! Ишак и тот кричит. А мы что делаем? Режем друг друга?! Чтоб им легче было! Чтоб они крепче держали нас за горло! У нас что, своих рук нет? Мы сами не можем взять их за горло? Мы так их можем взять за горло, что у них глаза выскочат! Если бы моя мать была жива, она сказала бы: правильно, Сенько, не молиться надо, а надо скинуть тех, кто сидит наверху, раз они не могут устроить хорошую жизнь, и надо самим подняться наверх и устроить хорошую жизнь. Вот что скажет моя мать. Кончилось время молиться. Надо взять в руки оружие и делать восстание! Надо разрушить их дворцы, выгнать их на площадь и казнить, и этого все равно будет для них мало, потому что сколько лет они мучают людей?! Тысячу лет, сто тысяч лет!..

С Дворцовой пошли к Кашветской церкви, и у Кашветской церкви уже никто, кроме него, не говорил, и на Солдатском базаре, куда пошли после церкви, и у здания типографии «Кавказ», где к ним присоединились рабочие типографии,— везде говорил он один, и его несли на плечах, а когда говорил, становился на плечи ногами и говорил, видя перед собой сразу всех и, может быть, от этого впервые доверялся не себе, а неожиданной и освобождающей власти, которую давали ему поднятые к нему восторженные лица. Потом, вспоминая, как это было, он сравнивал возникшее тогда чувство с той внезапной радостью и свободой, что приходили от матери, и решил, что от матери было иначе — она как бы возвращала его в себя, отгораживала от мира, и радость была оттого, что вдруг на миг снова обретал мать, и покой был, и благость. А тогда, на Дворцовой, произнеся свою первую в жизни речь, он словно перестал быть тем, кем был

до этого, и стал кем-то другим, кто вмещал не то, что он прожил до сих пор, а наоборот, освобождал его от всего и вмещал только вот эту толпу, он как бы был ею и в то же время был выше нее, и от этого тоже приходила свобода, но это было освобождение не от внешнего, а от самого себя, и не радость, а если и радость, то от сознания своей силы и всеумения и даже могущества; а от той, материнской свободы — чувство беспомощности и неотделимости от мира, над которым тогда, на Дворцовой, он почувствовал свою власть.

Потом, уже после того как у типографии «Кавказ», словно из-под земли, сразу налетели казаки и полицейский и околоточный надзиратель, все время сопровождавшие демонстрацию, бросились вдруг к нему, и околоточный схватил его за пальто, а он, все еще сидя на плечах рабочих, ударил околоточного ногой в зубы, и тот упал, и он сам упал лицом в землю, и они так лежали, он и околоточный, оба лицом к земле, под ногами казачьих лошадей, а лошади каким-то чудом их не раздавили, и после того как казаки умчались и он вскочил и бросился через забор направо от склада Акопова, а один из казаков побежал за ним и ударил саблей по голове, но попал только в руку, поцарапав ему палец, и ему удалось перелезть все-таки через забор, а потом у одного знакомого переодеться в кинто, и так, в костюме кинто, сначала на извозчике, потом пешком — мимо драгунов Семеновского полка и казаков, искавших уже оратора и знаменосца,— до Хлебной площади, на явочную квартиру Ханояна, и рассказывавший уже там о демонстрации и о «каком-то молодом ораторе» поэт Акоп Акопян не признал его, пока он сам не назвал себя,— после всего этого, уже уверенный, что все позади, и еще гордый только что выявленной силой, он прочел текст прокламации, которую писал Коба. В прокламации было написано, что в демонстрации участвовало несколько сот человек.

— Что ты написал?! — сказал он Кобе.— В демонстрации участвовало десять тысяч человек!..

— Брешешь! — сказал Коба.

— Ну хотя бы пять тысяч... Пиши, что участвовало пять тысяч!

— Брешешь,— снова сказал Коба.

В конце концов договорились переправить «несколько сот» на «густые колонны», и он побежал набирать прокламацию.

Революция для того, чтобы все научились петь. Значит, так: революцию сделали — теперь петь? Нет, не так. Надо сделать еще мировую революцию. А после мировой революции что делать? Сидеть вот так перед стеной и думать?.. Для этого не нужна революция. У каждого есть стена, каждый может сесть вот так перед своей стеной и думать. Но никто не сидит. Может быть, никто про другого просто не знает, что тот сидит? Никто об этом не рассказывает... А Пушкин рассказывал. Об этом можно только стихами говорить. Сталин поэтому и писал стихи?.. Потом бросил. Сталину не надо рассказывать о том, что внутри. Ему это смешно. Он раз и навсегда перестал заниматься смешными вещами. А мне?.. То, что сейчас происходит со мной... В конце концов, а что происходит? Готовлюсь в академию. Время петь не настало. Еще надо драться. Сколько можно драться?.. Владимир Александрович сказал:

— Даже нэп — это не мир, а совершенно наоборот, это еще один новый фронт войны. Зарубите это на ваших интеллигентских благодушных носах! Ленин именно так и ставит вопрос. Эмигрантская меньшевистская сволочь за границей благословляет нэп как отступление. Они спят и видят в своих парижских снах, как мы отказываемся от диктатуры. А видят ли они нового генерала Галифе, ко-

торый потопит в крови миллионы вместе с их плехановским марксизмом, черт бы его побрал? Нет, господа, только диктатура! История предпослала нашей революции Парижскую коммуну, чтоб мы ни на минуту не забывали о диктатуре. И мы не забудем, смею вас уверить. Хватит революционной романтики, мы хотим стать рационалистами. Революционными рационалистами! И мы ими станем. Или погибнем. Как погибали все революционные романтики до нас.

Владимир Александрович приходил два дня назад, вечером. К Соне пришла ее подруга, Маневич, та, что была свидетелем, когда они расписывались, и еще был один врач из больницы, где Соня работала, и молодой певец — Соня хотела, чтоб его послушал Луначарский. Соня села за, рояль, певец пел, и вдруг пришел Владимир Александрович и стал говорить о Десятом съезде, о нэпе и диктатуре пролетариата. Все молча, испуганно слушали. Певец спросил: а опера при диктатуре будет? Владимир Александрович не ответил, выпил чаю, дал задание на деепричастные обороты и ушел.

Что происходит внутри Владимира Александровича? Когда он вот так один и в тишине? И стихи читает? «У лукоморья дуб зеленый; златая цепь на дубе том...» Что такое лукоморье? И почему кот — на цепи? И днем и ночью ходит... Ничего не понятно. А все вместе — понятно: где-то — тайна, и ее охраняет кот... И не так. Кота отдельно тоже нет. Ничего отдельно нет. Все — вместе. Все — слито. Как на этой стене. Если нарисовать отдельно кота, дуб, эту цепь на нем, будет глупость. Интересно, мог бы я писать стихи, раз чувствую, как все слито? Все любят Пушкина — значит, все это чувствуют? И кадеты, и эсеры, и меньшевики, и большевики... У всех одно. Внутри. Через Пушкина все друг друга узнают. Даже не так. Себя узнают в другом. Через Пушкина. Очень хорошо. Надо читать Пушкина — и все всё

поймут. Каждый увидит, что внутри другого... А эти, что сидели в батумской тюрьме, читали Пушкина? Ни черта друг в друге не видели! Даже не слышали друг друга — каждый говорил свое... Нужно делать революцию. Для всех. Для всего мира.

В такие дни он ничего не успевал записать или машинально, туно много раз записывал одно и то же: «рискуя, рискуя, рис, киска, рискуя...» Или повторял строчку из стихотворения:

Я ждал беспечно лучших дней,
И счастие моих друзей
Мне было сладким утешеньем.
Я ждал беспечно лучших дней,
И счастие моих друзей
Мне было сладким утешеньем...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Прежде чем начать читать, Соня выключала верхний свет. (Как-то он попросил об этом: почему в театре тушат свет, понимаешь?..) Лицо Сони растворялось в полутьме комнаты, и казалось, книга звучит сама — от низко склоненной над ней настольной лампы. Когда она заканчивала чтение, он вскакивал, отодвигал на окне занавески, включал свет — торопился вырваться из мира, где от него ничего не зависело, и вернуться в мир, где можно действовать самому.

Вчера, сразу после чтения, она записала в тетрадь название темы — «Столкновение двух идей в «Цыганах» Пушкина». Легла и, уже засыпая, коротко рассказала: еще один — от тифа, так и не узнали кто... Неожиданно замолчала, и он увидел, что она спит. Он привык после чтения говорить с ней о прочитанном, и она помогала находить слова для мыслей и чувств, которые у него

возникали. Поэтому и не могу ничего написать, решил он: чтоб возникали мысли, надо спорить.

Со Спасской донесся медленный певучий удар. Час дня. Он сидит с утра. В раскрытой тетради — только заголовок, рукой Сони. В окне на Боровицкой башне снег слит с белым небом — башня растворилась в небе. А степа — чистая, обмытая, как после дождя. А это не от дождя, а от снега... О чем я думаю? Не могу сосредоточиться. Надо сосредоточиться, выбрать что-нибудь одно. Что? Например, последнюю строчку, она запомнилась: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет». Почему судьба? Если есть судьба — не о чем думать. Надо думать о чем-то серьезном. Как в заголовке? «Столкновение двух идей...» Какие к черту идеи, жена изменила мужу — вот и вся идея! Столкновение идей — это когда один другого хочет убить. Нет, не хочет — должен! Во имя идеи? Во имя какой идеи убивают друг друга солдаты?

В окне белым комом вздымался над крышами купол храма. Шел снег. Почему идет снег? У всего есть причина. Убивают друг друга тоже по какой-то причине. Столкновение идей?.. Какая идея была у казаков, которые хотели меня повесить в пятом году? Мне было двадцать три года, они видели, что мне только двадцать три,— и хотели убить. Два раза вешали. Без всякой идеи. По привычке...

Казаки не злились и даже смеялись, когда накидывали на шею веревку, еще успокаивали... Казаки зла не имели, меня не знали — значит, не меня вешали... А кого? Как все случилось, как дошло до того, что стали вешать?

Потом это назвали Декабрьским восстанием. А началось все задолго до декабря, еще до бакинского братания. Ждали армяно-татарской резни. Воронцов выдал под

расписку Исидору Рамишвили пятьсот ружей — для раздачи рабочим нейтральных национальностей. (Было сообщение — дабы умиротворить начавшееся в Тифлисе армяно-татарское столкновение.) Ружья раздали в Нахаловке и Дидубе, железнодорожным рабочим. Цхакая говорил: Воронцов создает себе алиби. Цхакая вернулся из Лондона в мае и рассказывал о Третьем съезде. Съезд постановил поднять в России восстание. Рамишвили прибежал в комитет, требовал вернуть ружья, говорил, что дал Воронцову честное слово, Воронцов написал обо всем царю, царь пришел в ярость — Воронцов в дурацком положении, ружья надо вернуть. Цхакая сказал:

— Жена наместника права, Исидор, у тебя очень чистые глаза.

(Рамишвили бывал у Воронцова, пил чай. Жена Воронцова говорила, что люди с такими глазами, как у Рамишвили, не обманывают.)

Газеты сообщили, что Воронцову высочайше предоставлены новые полномочия. «Патриотическое общество» священника Городцова из второй Миссионерской церкви устроило манифестацию — шли по Головинскому с флагами, портретами царя, кричали «ура», перебили стекла в домах Зубалова, в редакции «Тифлисского листка», в Артистическом обществе, громили вместе с казаками дом Манташева, пели гимн под балконом наместника — на балконе стояли наместник, его жена, дочь и невестка. Ночью в Михайловскую больницу привозили трупы. Наутро фамилии убитых были в прокламациях. К Тифлису подходили регулярные части с Терека, Каспия и от турецкой границы. Мяса не было, хлеб доставали с трудом, расстреляли городскую думу...

Был душный тифлисский август. Казаки окружили здание городской управы, полицейские вошли в зал заседаний, приказали разойтись и, не дожидаясь выполнения приказа, стали стрелять. На выстрелы сбежалась тол-

па. Казаки убили шестьдесят человек. О расстреле он узнал к вечеру. Ему поручили перевезти из Сололаки в Нахаловку готовые бомбы. Он надел одежду кинто, взял извозчика и всю дорогу пьяно орал, задевая прохожих. Ночью бегал по типографиям. Прокламации на трех языках призывали к восстанию. На улицах не горели фонари. Бросали бомбы в казачьи казармы, обезоруживали жандармов, задерживали офицеров.

В декабре пришли войска. Со стороны вокзала подошли и стали конные батареи — вдоль железнодорожного полотна, за которым начиналась Нахаловка. Несколько дней улицы наполнял топот копыт — шли нарядные казачьи сотни, казалось, готовились к параду. Потом улицы вымерли.

Он несколько раз отправлялся искать казаков. Доходил до вокзала. Вокруг вокзала стояли пушки. Около пушек ходили полицейские. Казаков не было. В штабе восстания решили ждать казаков с трех сторон — от вокзала, Дидубе и Авчал. С четвертой стороны была Махат-гора. Он доказывал: если они не совсем дураки, придут с горы — тогда мы будем внизу. Они дураки, отвечал Георгий Элиава, они не найдут, как обойти с горы. Элиаву поддержали.

Пушки начали стрелять перед самым рассветом. Солдаты шли в полном походном снаряжении, не таясь, по улицам с трех сторон — от вокзала, Дидубе и Авчал.

— Казаки пойдут с Махаты! — крикнул Георгий Элиава.— Камо был прав, занимайте гору!

Людей не хватало. Он взял Элиаву и еще несколько человек и полез на гору. Они дошли до середины склона, когда на гребне показались лошади. Казаки засвистели и, не переставая свистеть и кричать, понеслись вниз, выхватывая на ходу сабли. Небо засверкало. Он бросился на землю, прижался к земле всем телом и закрыл глаза. Раздался пронзительный отчаянный крик. Кого-то уже

ударили, подумал он с удивлением, словно до этого не верил, что казаки будут все-таки рубить; и то ли от этой мысли, то ли от самого крика — от мгновенного сознания, что кому-то хуже, чем ему, страх исчез, и он вспомнил, что у него есть наган и две бомбы. Сначала бомбы, решил он, пока не подошли близко. Он приподнялся, достал из кармана бомбу, но бросить не успел — у самой его головы, чуть выше, землю взрыли огромные мохнатые копыта и вдруг оторвались от земли, и он увидел, как копыта взлетели над ним в серое небо, и тут же, ослепляя, что-то метнулось в него и прижало к земле, и торжествующий долгий уносящийся крик... Он понял, что это ударил его саблей перелетевший через него казак. И с этого момента он все видел ясно и спокойно, как будто с ним уже ничего не могло случиться: гудящий, сверкающий склон, лошади скользят, приседают на задние ноги, ржут, казаки рубят, низко наклоняясь с седел, чтоб достать лежащих, ругаются, а тех, кого рубят, не видно, и вдруг — во весь рост — красный, разбухший от крови Георгий Элиава, медленно, с трудом поднимает ружье и целится в небо, а сбоку, придержав лошадь, упруго изогнувшись, аккуратно, как на ученье, ударяет его саблей казак, и лицо Элиавы разваливается, как спелый гранат, а Элиава все стоит...

Он бросил бомбу вверх, на гребень горы, откуда появлялись лошади, не веря, что бомба долетит, и только надеясь на дым и переполох, который поможет уйти тем, кто жив. В тот же момент его снова ударили саблей, и опять по плечу, но уже в другое место, он это увидел, теперь ближе к шее, еще немного — и отрубили бы голову, подумал он спокойно, и успел еще увидеть, как наверху, на гребне, жалко шарахнулись от его бомбы казаки, а бомба, казалось, летела обратно к нему, и потом, видно, был взрыв, и он потерял сознание. Когда очнулся, дым уже рассеялся, казаки сверху шли пешими наискосок

по склону, прикрываясь лошадьми и беспорядочно стреляя через их спины из коротких ружей. Одна лошадь лежала на боку и била копытами; вероятно, ей казалось, что она несется по небу.

Он не шевельнулся, только открыл глаза, увидел, что казаки сверху идут не в его сторону, и стал ждать выстрелов, чтобы понять, есть ли живые. Внизу, в городе, гремели пушки и отчетливо звенели вылетавшие на улицу оконные стекла. Он захватил ртом снег, почувствовал сразу во всем теле холодную свежесть, вспомнил про вторую бомбу и, потеряв чувство опасности, выхватил бомбу и бросил ее вдоль склона... Все еще не зная, что делать дальше, и поняв только, что сейчас за дымом его не видно, он стал быстро ползти вниз по склону и во мгле наткнулся на холмик, покрытый снегом. Холмик дрогнул, и он понял, что это куст, и заполз в гущу голых колющих веток, раздирая об них лицо и ладони. Под кустом оказалась яма, земля была сухая и теплая. Он поджал ноги, обхватил их руками и уперся коленями в подбородок. Дым рассеивался. Казаки залегли по склону и стреляли, а лошади их стояли, опустив головы, и уже осторожно вынюхивали землю. Потом в ту сторону, где он до этого лежал, бросили гранату. И его снова оглушило.

Очнувшись, он понял, что оглушил его только грохот. По склону разгуливали лошади, бесшумно ступали по грязному слежавшемуся снегу. Несколько казаков бродили по склону и, казалось, что-то искали, то и дело взмахивая саблями. Он не сразу сообразил, что это добивают раненых. Потом подумал, что раненых, вероятно, нет. Казаки рубят трупы. На всякий случай.

Небо светлело. За облаками взошло солнце. Казаки отходили все дальше по склону, и их уменьшавшиеся фигурки четко обозначались на светлеющем небе. Ему стало уютно в своей яме под кустом, и он решил, что

подождет еще немного, а потом вместе с утренними мацонщиками спустится в город. Он представил: идет ишак, на нем хурджин с кувшинами, он, с палкой в руке, в круглой черной шапочке, идет рядом, кричит: «Мацони!», и казаки покупают у него мацони и едят тут же, прямо из кувшинов, и усы у них — белые от мацони; казаки смеются, глядя друг на друга, и он тоже смеется вместе с ними, и еще советует не вытирать усы, а облизывать, чтоб не пропадало мацони, и учит, как это делать, и нарочно делает это смешно, гримасничая и дурачась, и от этого они покатываются со смеху. Казаки ему стали нравиться. Потом он представил, как проходящий мимо по склону казак, не останавливаясь, стреляет в него, или снова — саблей, тычет в рот, в глаза или шутки ради отсекает саблей нос. Без носа его узнает каждый полицейский, и даже не полицейский — дворник, жена дворника... Молодец, куст, подумал он, если б не ты, мне бы отрезали нос, ты, добрый, умный куст, вдруг появился и сам же меня позвал. Он потрогал пальцами голые ветки — осторожно, чтоб не потревожить покрывающего их снаружи снега, и подумал, что, вероятно, это сирень, и вспомнил о сирени на могиле матери. Через год после смерти матери, весной, он приехал в Гори и весь день просидел у могилы. И уже тогда заметил тонкие нежные ветки у изголовья. На следующий год на ветках появились цветы.

Он приезжал на могилу матери каждый год весной, только когда сидел в батумской тюрьме, приехал в сентябре, сразу после побега. Тогда, после тюрьмы, он впервые заговорил с матерью и, сам того не замечая, говорил, обращаясь к сирени, вероятно, потому, что на могиле она была единственно живой. Это мать послала куст и эту ямку под кустом, чтоб я мог поместиться под ним, подумал он, она точно рассчитана на мой рост, если вот так вжаться коленями в подбородок, это совершенно

ясно — и куст и эта яма точно рассчитаны па меня. Мать сейчас следит за мной, подумал он, откуда-нибудь сверху, из-за этих облаков, облака прозрачные, они издали белые, а вблизи прозрачные, и через них все видно, а если и не видно, все равно можно найти просвет или где облака потоньше... Казаки уже ушли, надо попробовать спуститься в город, подумал он и вдруг увидел, что все еще лежит, обхватив руками ноги и прижав их к подбородку, рассмеялся, вытянул ноги, высунул их из-под куста, лег на спину и сразу заснул.

Потом в куст к нему лезли какие-то люди, хватали за руки и ноги, тащили, он бил их по красным крепким лицам, а они хохотали и несли его, и он уже устал их бить, и лежит у них на руках спокойный и даже безразличный, и уже видит, что это казаки, и слышит, как они между собой переговариваются, что, мол, все равно подохнет, куда его нести, вся кровь вышла, и самый веселый — усы черные, из-под усов крупные зубы, как у лошади, и от того, что все время смеется, зубы видны — достает саблю и, продолжая показывать зубы, подходит к нему и говорит: а я тебе сейчас нос отрежу, и подносит к самым его глазам сверкающий кончик сабли, и уже прикоснулась ледяная сталь к щеке, и он от этого тут же проснулся и обрадовался, что все только сон, но перед глазами все еще сверкал кончик сабли, и он понял, что то, что он проснулся, это тоже еще сон, и увидел огромные озабоченные лица, склонившиеся над ним с неба, кто-то опять сказал: подохнет! А тот, с лошадиными зубами повторил: я сейчас отрежу ему нос...

Он открыл глаза от боли в носу: вокруг стояли казаки, а один присел перед самым его лицом, одной рукой сжимал ему нос, другую, с саблей, поднес к его глазам. Из-под усов сверкали веселые зубы. Он опять сделал усилие, чтоб проснуться, и понял, что не спит. Он лежал на склоне так, что ноги его были выше головы, а казаки

стояли у его ног и смотрели ему в лицо, и поэтому он увидел их всех сразу. Они, видно, обрадовались, что нашли живого, и улыбались. Над их головами, выше по склону, бродили лошади. Тянулась вверх грязно-белая земля. Земля кончалась, и начиналось небо. Он прикрыл глаза — небо ослепляло. В нагане четыре патрона, подумал он, если перестрелять четырех, с пятым не справиться, нет сил, к тому же наган, конечно, взяли... Он почувствовал, как сабля прижимается к его щеке плашмя, широкой частью, у самой рукоятки, потом резко скользнула вдоль щеки и сорвалась, ободрав на носу кожу. Хохотали, кто-то сквозь смех советовал: ты его не брей, ты его сверху, с переносицы! И он ясно представил, как приложат сейчас к переносице саблю и как она медленно, соскабливая с лица нос, поползет вниз — лицо зальет кровью, захрустит кость... И уже от того, что представил, словно вырвался из неподвижного тела, бил их в хохочущие рты, а они продолжали хохотать, и поносили его беззлобным матом, и что-то еще делали с ним, от чего ему стало казаться, что его насаживают на кол — кол разбухает, заполняет все его тело, разрывает его, а он помнит, что сейчас сабля отсечет ему нос, и потом опять будут смеяться и похабно шутить, и, может быть, отрежут еще и голову, и он умрет, вот так же не будет сил двинуть рукой, и рук не будет, и ног, и головы, но сабля еще только прикоснулась к переносице, и еще он жив — вот небо, вот земля, вот их лица, запах сапог, морды лошадей...

— Э-эй! Убери саблю, дурак! Я живой, не видишь?! На глаза смотри! Я сам глаза открывал... Живой! На живой человек нос кто отрежет, дурак? Уходи! Возьми свой сабля и уходи... Мне дома знаешь кто ждет? Ишак ждет! Ишак умный, нос никому не отрежет. Ишак — больше умный, чем ты!..

Казаки смеялись. Тот, с лошадиными зубами, тоже

смеялся. Потом поднял саблю и, смеясь, сказал:

— Я тебе не нос, я тебе башку сейчас отшибу к черту!

— Башка — пожалуйста! Все без башка живет... Ты тоже без башка живешь, такой глупый вещь делаешь, нос режешь, где твой башка?

Казак под хохот взмахнул саблей, прорезал со свистом воздух и воткнул саблю в землю, рядом с его лицом.

Сабля не прикоснулась к нему, но он почувствовал щекой исходивший от нее холод и рассмеялся.

— Джигит! — сказал он.— Плохой джигит.

— Вот я тебе сейчас наджигитую! — обиделся казак и снова взмахнул саблей.

Но его остановили, кто-то сказал, что лучше повесить, еще поговорили немного, решая, что лучше с ним делать, а он в это время смотрел на них весело и действительно был весел оттого, что вырвал эти несколько минут жизни, и теперь верил, что вырвет и всю жизнь, а они в несколько рук подняли его и перекинули через спину лошади, лицом вниз, и всю дорогу щека его плотно терлась о мягкую щетинку, и это возвращало его к сознанию, которое он то и дело терял.

Потом он несся на лошади сам, потом — уже и без лошади, и не по земле, а как будто небо изогнулось, и он несется в огромной трубе, и опять тело его расширяется, и от этого труба все у́же и у́же, и он с трудом протискивается в нее, и плечи сдавлены, и голова, и темнеет в глазах, а впереди свет, и он торопится добраться до него, прежде чем задохнется, но кто-то набрасывает на шею веревку, тянет назад, прямо перед глазами черные доски, доски проваливаются вверх, исчезают... Кто-то сказал:

— Ишо живой... Давай сюда, у меня выдержит!

Опять тянули за шею, но теперь не назад, а вперед, и несколько рук поднимали, подталкивали, поддерживали, а он вырывался из рук и наконец вырвался и опять

понесся один в черный дощатый потолок, потолок начинает раздвигаться, раздвигается, раздвигается — и вдруг сдавливает со всех сторон... Его окатили водой — это он понял, когда пришел в себя и увидел себя мокрым, а один казак стоял перед ним с ведром. Казак заулыбался.

— У него от веревки заговор! — сказал казак.

Теперь оттого, что его облили водой, он стал понимать слова и понял, что его вешали и что теперь будут вешать еще раз. Они больше не смеялись и не шутили и были озабочены тем, что не могут его никак повесить, и была даже осторожность в молчаливой деловитости их движений, как будто теперь они имели дело не только с ним, но с кем-то еще, кто им мешал. Из разговора он еще узнал, что в первый раз не выдержала балка, к которой привязали веревку, потом порвалась веревка. Это опять помогла мать, подумал он. Хорошо, что они облили меня водой, теперь я все слышу и понимаю. Теперь я сам себе помогу.

Он не знал, что он может сделать, но до последней минуты — той самой, когда ему снова накинули на шею петлю,— был уверен, что не умрет, и только когда его опять подняли, поставили на опрокинутое ведро, поддерживали, чтоб не упал — держись, родимый, сейчас, сей миг! — аккуратно укладывали на шее петлю, он вдруг увидел себя на веревке с дергающимися ногами, а они — вокруг и ждут, когда он перестанет дергаться, и взорвавшаяся вдруг гадливая ярость к ним и к себе за то, что позволяет с собой все это делать, с силой присел, выскользнул из рук, отлетело с грохотом ведро, прыгнул, схватился руками за бревно, повис, закричал от боли в плече, сорвался, но успел схватиться обеими руками за веревку, рычал от боли, петля вздернулась, болталась перед глазами, зубами поймал ее, выплюнул, упал, не теряя сознания, увидел, как запрыгала в воздухе пустая петля, как в ужасе отбежали от него казаки.

Потом лежал на полу, улыбался, смотрел на казаков, говорил, ломая русские слова:

— Мацонщик жить надо. Ишак один останется, скучать будет. Не жалко ишак?

Казаки не смеялись, молча смотрели на него; один медленно подошел, обнажил саблю, осторожно потрогал острием его ногу, потом лицо, надавил, смотрел ему в глаза. По щеке потекла кровь, но он видел страх в глазах казака и от этого без всякого усилия продолжал улыбаться.

Потом его долго вели по улицам, и он шел опустошенный, спокойный, всем телом уверенный, что ничего страшного с ним уже случиться не может, и видел, как течет из его плеча и с разбитого лица кровь, и ужас в лицах прохожих, и лицо Аллилуева в толпе; он подмигнул Аллилуеву — все от той же ясной уверенности в себе, но вспомнил, что на лице его маска из запекшейся крови, а Аллилуев не может его узнать, но Аллилуев, видно, все-таки узнал, потому что еще долго шел в толпе, до самого Метехи, и все время на лице Аллилуева был ужас, а его всю дорогу не покидало ясное и легкое чувство снисходительного презрения к смерти, и это его не покидало и после, когда он сидел в Метехской тюрьме, а его в это время искали по всему Кавказу, и уже даже не думая о том, как выйти из тюрьмы, он знал, что выйдет, и все случилось просто и легко, как он теперь и представлял все, что с ним могло случиться: некий Шаншиашвили, сидевший в тюрьме, с мальчишеским восторгом отдал ему свое имя, и, выходя из тюрьмы, он опять был так уверен в себе и спокоен, что городовой, приставленный сдать его под расписку родителям Шаншиашвили, согласился ехать отдельно на трамвае, чтоб не позорить его перед знакомыми своим присутствием.

— Земля смеется, когда я по ней хожу,— сказал он в тот день тете Лизе.— Она радуется моей жизни.

Радовались бы казаки, если б узнали, что он убежал? Казакам не было до него дела, они убивали его потому, что знали, что он хотел убить их. А он хотел убить их, потому что знал, что они хотят убить его. И так до каких пор? До столкновения идей?.. Алеко убил Земфиру из-за столкновения идей? А отец Земфиры не убил Алеко из-за столкновения идей? Отец Земфиры и за похитителями своей жены не погнался. Вероятно, здесь и заключен смысл, подумал он, в этом все дело, Алеко тоже этому удивился.

Он вспомнил рассказ старика и потом еще перечитал это место в книге. Никакого столкновения нет, подумал он, старик не захотел бороться. А зачем бороться, если жена сама убежала? Зачем мстить? Чтоб другому было тоже больно? Какое здесь столкновение?.. В том, что старик не погнался за женой, больше столкновения. С теми, кто погнался бы. Например, с Алеко. Потому Алеко и удивился. А старик что ответил: «Кто в силах удержать любовь?..» Старик умный. И свободный. А Земфира не свободная. Он вспомнил, как однажды в разговоре Соня сказала о Земфире... О чем говорили? Что такое свобода?.. Нет, не так. Что-то о Пушкине. Сначала о Пушкине, потом — о свободе. И Соня сказала: Земфира свободна. Он тогда не знал, кто такая Земфира, и молча слушал. Была подруга Сони, Зоя, тоже врач, и еще кто-то. И он вдруг сказал: Земфира обманула Алеко, какая это свобода? Соня тут же заговорила о новом спектакле в театре Таирова, а он мысленно выругал себя за то, что вмешался в разговор. Теперь он повторил бы то же:

— Алеко эту шлюху Земфиру любил, из-за нее все бросил, с медведем ходил, фокусы разные показывал, а она что сделала? Старый муж, грозный муж... Это свобода?

— В «Коммунистическом манифесте» написано, что женщина должна быть свободна.

— Там сперва написано, что нельзя обманывать.
— Это в Евангелии написано.
— А «Коммунистический манифест» о чем? Чтоб все жили честно. А какая честность, если обманывает?
— У тебя врожденное диалектическое мышление.
— Ты против честности?
— Я за свободную любовь Земфиры.
— Хорошо, что такое свобода?.. Ленин государство строит, а Троцкий дискуссию объявляет, с Лениным спорит — это свобода?
— Троцкий не понимает, что Ленин прав.
— Я понимаю, что Ленин прав, а Троцкий не понимает?
— У каждого свое понимание, Семен.
— У нас что, английский парламент? Покушал бифштекс, закурил сигару — теперь пойдем в парламент, поговорим, кто прав? Извини, пожалуйста, у нас кушать нечего! Ленин сам не кушает, свой кусок другим отдает, а Троцкий с ним спорит! Не согласен? С чем не согласен? Что Брестский мир заключили, что всех накормить надо?! Польша на нас лезла, дашнаки в Армении не сдаются, мусаватисты двадцать шесть комиссаров расстреляли, эсеры в Ленина стреляли, никто нас за людей не считает, Англия торгового договора не хотела заключать — а Троцкий с Лениным спорит!.. Какое время спорить? Ты будешь спорить, а история будет ждать? Троцкий чего хочет? Пока Ленину трудно, его снять и самому сесть. Троцкого убить мало!
— Чтоб выяснить, кто прав?
— Сколько можно выяснять? Все ясно. Троцкий хочет власти. Больше ничего не хочет.
— Он сам тебе об этом сказал?
— Зачем говорить? Я по глазам вижу.
— Ах вот как! Зачем нам парламент, мы по глазам видим!.. Это и есть свобода?

— Соня, ты знаешь, как я к тебе отношусь? Как Земфира к Алеко. Пока она этого молодого цыгана не встретила...

— А когда встретишь молодую цыганку, скажешь?

— Не встречу, Соня.

— Но если все-таки встретишь, обмани! Как Земфира... Послушай. Какой это все-таки стыд, я все время об этом думаю, о том, что ты моложе меня на целых два года. А должно быть наоборот. Ты должен быть старше меня, и не на два года, а на десять!

— Мой отец был старше моей матери в два раза. Даже больше. Знаешь, сколько было моей матери, когда я родился? Шестнадцать. А отцу было тридцать пять. Ничего хорошего из этого не вышло.

— А ты?

— Что — я?

— Твой отец женился на твоей матери, чтоб родился ты.

— От молодого отца я еще лучше бы родился!

— Для того, чтобы ты родился, нужен был твой отец. И все должно было быть так, как было.

— И мать моя должна была мучаться? Лучше бы я вообще тогда не родился!

— Слава богу, это еще зависит не от нас. Иногда мне начинает казаться, что от нас вообще ничего не зависит.

— Очень хорошо! А свобода? Тогда кто свободен, твоя Земфира тоже не свободна?

— А может быть, Пушкин об этом и написал? О том, что все не свободны? Как кончается поэма? «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет».

— А Пушкин сам что сделал? На дуэль вышел, подставил грудь этому, как его?.. Я бы его поймал, посадил в клетку и поставил бы клетку на главной площади —

смотрите, вот судьба Пушкина, скажите теперь, есть от судьбы спасенье или нет?

— И все-таки он убил Пушкина!

— Извини, Соня, я не хочу Пушкина обижать, но Пушкин Маркса не читал, простой вещи не знал: что такое свобода!

Небо в окне потемнело. На Боровицкой башне стал виден снег. Скоро совсем стемнеет. Обещал зайти Владимир Александрович. С «Цыганами» уже ничего не выйдет. Остаются причастия. Владимир Александрович просил придумать примеры на причастия прошедшего времени.

Он открыл тетрадь и, подумав немного, написал: «Наполеон I, который завоевал всю Европу, был сослан на остров Святой Елены. Наполеон I, завоевавший всю Европу, был сослан на остров Святой Елены...»

И почему-то снова вспомнил рассказ старика из «Цыган». Открыл страницу с заголовком Сони о столкновении идей, смотрел на заснеженные зубцы Кремлевской стены, потом быстро, не останавливаясь, написал и закончил так: «Цыгане, привыкшие уважать свободу действий каждого человека, возмутились поступком Алеко и после осуждения стариком, указавшим ему, что он не рожден для дикой, свободной жизни и хочет воли только для себя, изгнали этого жестокого человека из своей среды, а сами, не желая жить совместно с преступником, оставили его одного».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

С утра пошел дождь. Снег на подоконнике покрылся желтыми дырами. Тусклое небо тяжело лежало на крышах и на куполе храма Спасителя. В Тифлисе уже распустились листья, подумал он и представил платаны на

Великокняжеской, где жила тетя Лиза. Платаны стояли по обе стороны улицы. Большие резные листья царственно покачивались на белых ветвях и покрывали улицу сплошной подвижной тенью. Шорох листьев заполнял комнаты до самой зимы. Давно от сестер ничего нет, вспомнил он, и от тети Лизы... Когда он рассказывал о сестрах, Соня молча, внимательно смотрела ему в глаза и как будто не могла чего-то понять. Как-то он сказал: спроси, о чем хочешь спросить! Она не ответила. Когда это было?.. Читали «Медного всадника», потом спорили, кто прав — этот мальчишка... Как его звали? Тот, что думает о своем домике с девочкой?.. Или Петр на бронзовом коне?.. Вспомнил: Евгений! Евгений думал о девочке и ее домике. Домик снесло, Евгений сошел с ума. Соня во всем обвиняла Петра: построил город, не думал о людях, «окно» прорубал...

— Петр Россию на дыбы поднял, Соня, ты что говоришь! Пушкин написал.

— Пушкину Евгения жалко. Пушкин против Медного всадника.

Уже когда легли и он молча лежал рядом с ней, уставившись в мутный квадрат окна,— думал о том, что вот два таких близких человека, как он и Соня, читают то, что написал великий поэт Пушкин, и понимают все по-разному. А как же другие? Еще и без Пушкина... Как поймут друг друга? Он не заметил, как стал размышлять вслух.

— Выходит, прав Троцкий — крестьянин не поймет рабочего, и рабочий должен давить крестьянина? А Ленин говорит: поймет, рабочий даст гвозди, а крестьянин даст хлеб — и поймут. Люди понимают друг друга, когда помогают.

Он увидел удивленное лицо Сони, понял, что говорит вслух, и замолчал. Наутро он написал о «Медном всаднике» так: «Безумный герой излагаемой повести является

более рассудительным, чем его нормальные коллеги. Несмотря на свое безумие, он ужаснулся своей собственной угрозе, так он понимал свою неправоту. Он сознавал, что его личное благо — ничто в сравнении с общественным и историческим благом...» Владимир Александрович прочел это и сказал:

— Хорошо, юноша! У нас с вами общая философская концепция. Я рад этому.

Ему стало неловко перед Соней — как будто Владимир Александрович подтвердил его правоту. Я не знаю, что такое концепция, сказал он Владимиру Александровичу... Но при чем тут концепция? И при чем «Медный всадник»? Я думал о Соне... А, вот: Соня читала «Медного всадника», потом спорили... Об этом я уже думал. Потом Соня все-таки спросила. Ночью. Он уже заснул, а она не заметила этого и спросила, и от звука ее голоса он в тот же миг проснулся — ему не пришлось даже переспрашивать, она сказала:

— Ты так их любишь, почему ты ни разу ничего не сделал, чтоб им стало лучше?

Она говорила о его сестрах. Он ответил с внезапной яростью:

— Моим сестрам будет хорошо, а другим, таким же, как они, плохо? Так?! — Потом долго, спокойно объяснял: — Вот в истории написано: французская революция, английская революция... Дурак писал! Настоящая революция — не для французов, не для англичан, не для русских, не для моих сестер, а для всех, понимаешь? Если не для всех — ничего не выйдет! Кто я? Армянин, грузин, русский?.. Я — Камо, никто! Если я буду только для своего народа, я — не Камо, я — Андраник, Тигран Великий, Петр — не Камо, понимаешь, не революционер. Почему до сих пор ни одна революция не получилась?

Дождь за окном усиливался, и он заметил это по тому,

как стало смывать с подоконника снег. Соня не верит, что революция делается для всех народов. Тогда царица Тамара тоже революционер. Жордания так и говорил: царица Тамара сделала для Грузии больше, чем революция. Однажды Жордания сказал: каждому народу надо прежде всего есть и размножаться, а для этого нужна территория. Когда это он сказал?.. Сразу после Третьего съезда. Протоколы съезда читали вслух на заседаниях комитета. Уже во время чтения спорили. Исидор Рамишвили и Сильвестр Джибладзе доказывали, что Грузии мешает не русский царь, а армянский капиталист. Нужно срочно создать грузинских капиталистов. А для этого нужно не восстание, а национальный банк. И Жордания сказал тогда, что надо есть и размножаться и для этого нужна территория. Цхакая назвал Жордания фальшивомонетчиком, который подменяет революционную идею национальной. Жордания не возражал и даже обрадовался, что его так хорошо поняли. И ушел. Рамишвили и Джибладзе тоже ушли. И еще несколько человек ушли. Цкахая сказал: русские меньшевики видели дальше — они ушли до съезда!

Цхакая открыл Третий съезд. Плеханов ушел к меньшевикам, и старейшим среди большевиков оказался Цхакая. Цхакая рассказал на съезде о демонстрации в день братания и о том, что ее возглавил молодой социал-демократ. После заседания Ленин спросил Цхакая, кто был этот социал-демократ? Цхакая сказал то, что знал: когда положение безнадежное, когда уже ничего нельзя придумать и сделать, произносится одно магическое слово — Камо, для нас это — имя, фамилия, сословие, национальность... Ленин переспросил: «Ударение на «о»? Камо? Я правильно уловил?»

Он с трудом сдерживал радость, когда Цхакая рассказывал это, потом спокойно, по-деловому сказал:

— Все ясно!

— Что тебе ясно? — спросил Цхакая улыбаясь.

— Съезд постановил поднять восстание,— сказал он.— Чтобы поднять восстание — нужно оружие, чтоб купить оружие — нужны деньги, чтоб достать деньги — нужны боевики.

Цхакая похлопал его по плечу. Цхакая было сорок лет, а ему двадцать три.

За окном звонко ударила по мокрому подоконнику капля. Как гонг. Он сказал вслух: гонг весны! И подумал: надо записать, чтобы не забыть. Но, открыв тетрадь, увидел незаконченную запись о выступлении Ленина на съезде транспортных рабочих. Он начал ее накануне вечером, вместе с Владимиром Александровичем. Владимир Александрович ушел и предложил дописать без него.

Он перечел то, что написал накануне, и стал писать о кронштадтском мятеже: «Хотя в лозунгах этого восстания на первый взгляд не было ничего контрреволюционного, кроме: «Долой большевиков, да здравствуют беспартийные Советы!», тем не менее все оттенки русской и иностранной контрреволюции встретили это известие с величайшей радостью, и вся эта свора в один голос завопила о снабжении кронштадтских «революционеров» как снарядами, так и продовольствием...» В пятом году Жордания перед тем, как уйти из комитета, сказал: историю делает не тот, кто думает о будущем рае, а тот, кто думает о сегодняшнем насущном хлебе. Кто-то вдогонку крикнул: не хлебом единым!.. Жордания сейчас в Париже. Вероятно, тоже хочет Советов без большевиков. Если большевиков не станет, Жордания вернется. И будет думать о насущном хлебе.

Он вспомнил, как Жордания выступал против боевых отрядов:

— У к-кого мы х-х-хотим экспроприи-р-р-ровать? — заикаясь, спрашивал Жордания.— У с-самих себя! Эт-ти

деньги прис-с-сылаются на н-н-нужды К-кавказа. Мы б-будем г-г-грабить Кавказ, чтоб у-устроить р-револю-цию в Р-р-россии?!

Цхакая предложил не заносить его выступление в протокол заседания. И тогда он ушел. И вместе с ним ушли Рамишвили, Джибладзе и другие.

Поставить его во главе кавказских боевиков предложил Красин. Красин руководил всеми российскими боевиками. Красина он знал по Баку — по кецховелевской «Нине», когда увозил из Баку в Тифлис «Искру». Красин подавлял его спокойной яростью больших умных глаз, изысканными манерами, разбойной сибирской красотой, образованностью, точными, безжалостными словами и уверенной властью над мгновенной бешеной реакцией, которую можно было уловить только в глазах. В Баку Красин заведовал электростанцией на Баиловом мысу, был знаменит, блестящ, в кругу промышленников слыл удачливым и связан был со всем кавказским подпольем.

Он не ожидал, что Красин помнит о нем. Весь февраль, сразу после побега из Метехи, он готовил первую группу. Занимались в пустынном зимнем Ботаническом саду, в ущелье Дабаханки, у водопада: поднимались на веревках по отвесным склонам, переходили по скользким покатым камням через реку, бросали камни, прятались в кустах и зарослях. Однажды прямо из ущелья он вывел всех на Коджорскую дорогу — там ждал извозчик. Он сел, и все сели вслед за ним, и фаэтон сразу заскрипел рессорами, и извозчик стал кричать, что столько людей не повезет. Тогда Бачуа Купрашвили столкнул извозчика и сам хотел сесть на его место, но он остановил Бачуа и сказал, что извозчик прав: в фаэтоне должно быть не больше четырех человек, и поэтому все будут са-

диться по очереди, прыгая на ходу, и чтоб никто не задерживался в фаэтоне больше минуты. Он и еще трое сели, а остальные побежали рядом с фаэтоном, потом он первый спрыгнул, и за ним те трое, и он крикнул извозчику, чтоб ехал быстрее, а в фаэтон на ходу уже вспрыгивали другие, заваливались в мягкое сиденье, смеялись, тоже кричали: быстрее! И потом, уже задыхаясь от бега и прыжков, опять кричали извозчику: быстрее! И лошади неслись уже галопом, и несколько человек уже остались далеко позади, а потом в фаэтоне остались только двое — он и Бачуа, и когда он вспрыгивал на ступеньку, Бачуа тут же прыгал на землю, и снова на ступеньку, и так до тех пор, пока оба без сил не свалились на сиденье. Потом подбирали всех, кто остался на дороге, и извозчик хохотал вместе со всеми, вспоминая, как прыгали и падали, и так, смеясь, проехали по дороге еще несколько раз в тот день и во все последующие дни. А однажды, когда вышли из ущелья на Коджорскую дорогу, фаэтона не было, и все этому удивились, а он небрежно сказал, что фаэтон сегодня запаздывает, и что извозчик будет, очевидно, другой и фаэтон другой, и кроме извозчика в фаэтоне будут солдаты и кассир, потому что в фаэтоне везут казенные деньги, но ничего не меняется, все знают свои места, и только вместо камня он бросит бомбу, а потом вот эту вторую бомбу бросит Бачуа, а если лошади все-таки понесут, все побегут за фаэтоном, и на ходу надо будет выбросить оттуда мешок с деньгами.

Фаэтон показался через несколько минут, никто не успел испугаться; лошади шли усталой рысью, было видно, как мягко покачивается на тонких рессорах коляска фаэтона; на облучке рядом с извозчиком сидел солдат с ружьем, и в фаэтоне на узком деревянном сиденье, спиной к извозчику, свесив на ступеньку белый от пыли сапог,— тоже солдат с ружьем, а кассир, наверное,

откинулся в глубину фаэтона, и его не было видно.

От поворота до того места, где они стояли, фаэтон шел несколько секунд, и все это время они смеялись, глядя на фаэтон, и он под смех громко по-грузински предупреждал Бачуа, что, если после первого взрыва лошади остановятся, вторую бомбу бросать не надо, и еще что-то говорил для всех, громко, смеясь вместе со всеми, и когда фаэтон проезжал мимо, солдат, сидящий спиной к извозчику, смотрел на них и улыбался, и когда уже вдогонку фаэтону полетела бомба, солдат все еще улыбался. Потом лицо его исчезло в дыму.

Фаэтон не остановился, но от взрыва или оттого, что шарахнулись лошади, круто накренился и так, на двух колесах, проехал, вываливая на дорогу оглушенных солдат и извозчика, а кассир остался в фаэтоне, и когда бросившийся наперерез лошадям Бачуа остановил фаэтон, кассир забился еще глубже, подняв на сиденье ноги и прикрывая коленями лицо. У солдат отобрали ружья прежде, чем они очнулись, а потом, пятясь, не веря, что их отпускают жить, солдаты растерянно убегали за поворот, вверх по дороге. А извозчик сразу вскочил на ноги и побежал к городу и, не оборачиваясь, визгливо кричал, чтоб не стреляли. Кассира выволакивали силой — он упирался, кусался, закрывал глаза, кричал, что ничего не видел и никого не запомнит, у него достали из кобуры на поясе наган и, подхватив под мышки, отнесли и положили на край дороги, над склоном, и он тут же, лихорадочно отталкиваясь руками и ногами, стал катиться по склону вниз, в Ботанический сад, и исчез в кустах. Денег оказалось восемь тысяч.

В ту ночь ему захотелось побыть рядом с сестрами. Они жили у тети Лизы. После побега из Метехи он приходил к ним редко, по ночам, и будил только Джаваир. Потом перелезали через забор, отделявший двор от соседского сада, иногда до утра просиживали на един-



ственной скамейке под дубом, который черной тенью покрывал весь сад.

В ту ночь ему впервые было одиноко, и он с удивлением ощущал тоску. Джаваир не разбудил. Прошел мимо дома, перелез через забор, нашел скамейку под дубом, долго сидел, глядя на тихое матовое свечение веранды в глубине сада. Джаваир рассказывала, что владелец сада, немец Рамм, по ночам на веранде что-то изобретает. Он представил: горит на веранде лампа, полыхают со степ золотые корешки книг, сидит в кресле человек, все вокруг него замерло, пусто, неподвижно, а человек изобретает — сам наполняет себя до отказа мыслями и чувствами, и не остается места для тоски.

Он вспомнил, как все это время напрягался душой, как впервые сомневался в удаче, как с того самого момента, когда показался на дороге фаэтон, и все время, что фаэтон приближался, а он, громко смеясь, отдавал последние приказания, как в это время мысленно просил мать помочь и успел еще подумать — перед тем самым мигом, как бросить бомбу,— успел подумать, что мать осудит и не поймет, для чего надо бросить эту проклятую бомбу, и все-таки мать ему помогла — никто не погиб, и даже лошади не погибли.

Он не заметил, как открылась дверь веранды, и увидел высокого человека в накинутом на плечи пальто, когда тот уже быстро сходил по заскрипевшим ступенькам и направился в сторону сада. В руках у него был керосиновый фонарь «летучая мышь». Подойдя к скамейке под дубом, человек поднял фонарь к своему лицу, подержал его, освещая светлые серые глаза и разбросанные по лбу седые волосы, и сказал:

— Если вы обдумываете план ограбления этого дома, могу помочь: знаю все подвалы и чердаки, дом строился по моим чертежам и под моим непосредственным руководством. Моя фамилия — Рамм. С кем имею честь?

Он не понял, о чем его спрашивают, но подумал, что если Рамм назвал себя, то и он должен назвать себя, иначе неудобно, и сказал, что его зовут Семен. Рамм молчал, видно, ждал, что он скажет о себе еще, и он сказал неожиданно для себя: когда жива была мать, его называли Сенько, а после того, как мать умерла, сразу стали называть Семеном, и так он узнал, что его зовут Семен.

Рамм ему понравился, и ему хотелось с ним говорить. Рамм подождал еще, сел рядом на скамейку, поставил фонарь на землю и спросил, как старого приятеля:

— Давно мать умерла?

И он стал рассказывать о матери: как она кормила нищих, водила его в церковь, защищала от отца, как, умирая, держала его руку до последнего момента — до того самого момента, когда он почувствовал, что она уходит.

— Ты тоже чувствовал, что уходит? — бесстрастно спросил Рамм.— Не исчезает, а уходит?

Рамм сидел ссутулившись, опустив перед собой обе руки, и они почти касались земли.

— Я часто вижу мать во сне,— сказал он устало.— Мы с ней разговариваем.

О чем еще говорил Рамм? Что-то еще о снах. И о душе. О том, что во сне душа открыта, без оболочки, а когда не спим — душа в теле как в скафандре, и чтобы видеть, нужны глаза, чтобы понимать, нужны слова, и как это глупо и примитивно, и зачем душе все это, если она бессмертна... Рамм говорил тихо, почти шепотом и как будто боялся, что его остановят, а потом сам остановил себя на полуслове и спросил:

— Ты что-нибудь понял из этого бреда? По глазам вижу, что не понял, и слава богу!

Он действительно ничего не понял и спросил: а отчего после победы человеку становится скучно. И Рамм как будто даже обрадовался этому вопросу и стал говорить о победе, что победа — это поражение, потому что побе-

да над другим — это всегда победа самолюбия, и душа после нее не освобождается, а еще больше закрывается и томится, и есть только одна победа, от которой душа освобождается,— победа над собой, после нее душа открывается и становится свободнее, и человеку тогда не скучно от себя...

Что еще было в ту ночь? Рамм говорил о детях, что боится за них,— вражда людей от невежества, но пока люди поумнеют, детей его могут убить. И рассказал, что в вечерней газете есть сообщение об ограблении на Коджорской дороге.

— Суета! — говорил Рамм.— Мир потонул в суете. А суета — это что? Неуправляемая плоть! Надела душа скафандр, а как управлять? Лень освоить скафандр, знает две-три кнопки — самое элементарное — и тычет в них, скафандр носит взад-вперед, и от этого суета, суета сует и всяческая суета...

Он перебил Рамма и сказал, что кассу на Коджорской дороге ограбил он. И стал объяснять: деньги нужны, чтоб купить оружие и поднять восстание. Рамм помолчал, потом спросил:

— Трудно грабить?

И тогда он не стал больше себя сдерживать:

— Ты за своих детей боишься, что убьют?.. А других детей не убьют? Ты что делаешь? О душе думаешь? О душе как надо думать, знаешь? О других надо думать!

Он говорил не возмущаясь, а хотел убедить и видел, что Рамм слушает внимательно и все больше удивляясь. В конце концов он предложил Рамму делать бомбы — можно тут же, в доме, тут должно быть много подвалов... Расстались они друзьями, но больше не встретились.

Этот Евгений из «Медного всадника» тоже хотел сидеть дома и думать о душе. Не вышло. Петра ругал, а Петр действительно о душе думал — о других думал. Он

снова перечитал то, что написал о «Медном всаднике», и теперь ему это понравилось больше. Потом стал писать о выступлении Ленина.

На чистый, омытый дождем подоконник слетали редкие снежинки, легко, бесшумно прикасались к нему и исчезали. Близился вечер.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

По небу легко плыли большие облака. А всю зиму небо было серое, как будто затянуто льдом, подумал он. Вероятно, на небе весна наступает раньше, чем на земле. Революция тоже как весна, подумал он. Соня вчера сказала:

— Революция — это насилие, Семен. А насилие что такое? Сильный побеждает слабого. Сильный должен помогать слабому.

— А революция для чего, Соня? Революция победила того сильного, который до сих пор побеждал слабого.

— Человек несовершенен, Семен, он для того и приходит в этот мир, чтоб достигнуть совершенства.

— Значит, когда-то достигнет?

— Да, когда сольется с миром.

— Это как?..

— Очень просто. Как в «Чайке». Помнишь: «Люди, львы, орлы и куропатки...»

Несколько дней назад вечером пришел Луначарский с женой и с ними какая-то актриса. Луначарский рассказывал о Камо. Красиво рассказывал, а в одном месте он остановил Луначарского и сказал, что этого не было. Луначарский рассмеялся: но могло быть, вполне, вполне могло быть, мой дорогой Камо, и уверяю вас, в этом не меньше правды, чем в том, что было, и стал говорить о правде искусства и правде жизни — обоим до истины, конечно, далеко, но правда искусства ближе, несомненно ближе к

истине, и в этом вы сейчас убедитесь, если сумеете уговорить нашу актрису что-нибудь прочесть, она пришла увидеть легендарного Камо, и у нее не хватит строптивости ему отказать. Потом актриса читала монолог Чайки. Хорошо читала. Просто. О том, как все сольются в одну мировую душу.

После их ухода он попросил Соню прочесть еще раз, но пьес Чехова дома не было, и только вчера Соня принесла книгу из больничной библиотеки. Он прочел монолог Чайки сам и удивился: ничего не понял. Прочел всю пьесу, снова вернулся к монологу — и опять не понял. Стал читать вслух, вспоминая интонации, с которыми читала актриса, и даже повторял ее жесты. Луначарский прав: когда читала актриса, была правда искусства, а сейчас он хочет правду жизни. В этом все дело, подумал он, дело не в том, сольются на самом деле все жизни в одну мировую душу или нет, а в том, что это все равно правда, даже если не сольются, ясно, что не сольются,— и все равно правда, все внутри связаны, и это только не видно, а искусство для того и существует, чтоб делать все видным.

Он медленно ходил по комнате, останавливался перед фотографиями на стене, снова ходил, по привычке мысленно разговаривал с Соней. И все-таки я ничего не понял из того монолога. Слова правдивые, а ничего не понял. И Нина Заречная — сама Чайка — тоже не поняла, так и говорит: не поняла!.. Интересно, как это понял Ленин. Ленин, конечно, читал.

Он вспомнил Куоккалу. Это было в шестом году, он тогда впервые приехал к Ленину и привез арбуз и засахаренные орехи от тети Лизы и еще привез пятнадцать тысяч, взятые в Кутаиси.

После коджорского экса меньшевики подняли шум, кричали о престиже партии, писали в комитет, требовали

вернуть деньги. Красин из Питера сообщал, что денег для закупки оружия все еще не хватает.

Он отправился в Кутаис: Барон Бибинейшвили узнал, что готовится вывоз денег из кутаисского казначейства. Барон работал в банке. Потом в Кутаис приехали Бачуа, Элисо, Илико, Вано и девушки — Анета и Саша. Девушек он вызвал после того, как местом нападения выбрал перекресток около женской гимназии.

Линейку с деньгами сопровождали конные полицейские. Четверо. Бомбу бросил Бачуа. Лошади дико заржали, одна из тех, что были в упряжке, повалилась, вторая протащила линейку и упавшую лошадь и, видно, тоже упала, потому что не показывалась потом из белого плотного дыма, который окутал линейку, а полицейские выныривали из дыма, и лошади ошалело уносили их по улице...

Собрались через несколько часов на Архиерейской, в доме Барона. Анета и Саша пришли позже всех (флиртовали с казаками на полицейской заставе), не стесняясь, долго доставали деньги из-под платья, опускали юбки, чулки — всего было пятнадцать тысяч рублей.

В Петербург он выехал через несколько дней, как только прорвался в Тифлис. Деньги уложили в бочонок для вина и в бурдюк с двойным дном. Бурдюк он взял с собою, бочонок сдал в багаж. В вагоне обсуждали кутаисское ограбление. Газеты сообщали подробности. Он узнал из газет, что вторая лошадь линейки осталась жива. О том, что кассир жив, он знал из рассказа Бачуа: увидев Бачуа с наганом, кассир молча кивнул на ящик с деньгами, но Бачуа все-таки оглушил его рукояткой нагана — обезоруживать кассира было некогда. Всю дорогу он угощал попутчиков вином из бурдюка, рассказывал, изображал в лицах, шутил, прослыл балагуром и добрым малым, а у самого Питера чуть не выдал себя.

На какой-то станции вошла старуха — без вещей, в

вылинявшем платке, с темным мясистым рябым лицом и синими глазами. Села к окну, увидела на столике налитые стаканы, отпила из одного, похвалила, спросила, чье вино, достала карты, молча быстро разложила и стала гадать.

— За винцо буду гадать, мои хорошие, за винцо!..

Говорила о казенных домах, дорогах, долгих хлопотах, удивлялась, что нет дамы, и вдруг ахнула:

— Господи, знак на нем!.. Отмеченный! Не тот, кого видите,— посланный!..

Он вскочил, схватил с полки бурдюк, решил, что старуха — из охранки, а старуха уже не смотрела в карты, смотрела на него и испуганно, с восторгом повторяла:

— Отмеченный! Бог послал, бог послал... За всех муки примешь, мой хороший. Бог послал!

Он рассмеялся и перебил старуху:

— Бог меня послал вот с этим бурдюком, мамаша, не мучиться, а веселиться буду! Вместе с вами!

И уже не дал ей рта раскрыть — говорил тосты, разливал вино, что-то выдумывал, изображал бога и апостолов, а старуха смотрела на него печальными синими глазами и бесстрастно сокрушалась: беда, беда, такой молодой и такая беда!..

В Петербурге явка была в столовой Технологического института. Был еще адрес Арчила Бебуришвили — из Кавказского комитета. Арчила дома не оказалось. Оставил у него чемодан и бурдюк и пошел искать Технологический.

«Люди, львы, орлы и куропатки...» Бред какой-то! А Чехов видел в этом смысл — раз написал!.. Он взял книгу, заходил по комнате, снова стал громко читать. Потом подошел к окну, долго смотрел на пронизанные светом счастливые облака. И облаков не будет, все сольется — одна душа, а что такое душа? Один серый мягкий

мозг; все поглотит, покроет землю и будет думать... О чем? Надо действовать, а не думать. После смерти тоже, может быть, продолжают думать, но действовать не могут. Это и есть смерть. Жизнь — действие. Эта всемирная душа — о чем она будет думать, если жизнь исчезнет? Все жизни сольются? И это все, чего ты ждешь? Или смеешься?.. Веришь в мировую душу и не веришь в то, что мир будет справедлив? Если мир нельзя сделать справедливым, для чего тогда жизнь? Самому стать несправедливым? Или бороться, зная, что не победишь? Какой тогда смысл жить, Соня? Луначарский прав, я не знаю, что такое правда искусства, но правда жизни одна: надо действовать.

— Лев Толстой говорил: надо думать!

— Толстой не делал революцию...

— Толстой отказался от собственности. Без всякой революции. Потому что думал.

— Чтобы всем так думать, как Толстой, надо сначала сделать революцию.

— Слава богу, революция сделана, и у тебя есть время думать!

— О чем думать, Соня? О монологе Чайки? Или о том, что такое революционер после того, как революция победила?

— Думай об опричниках! Владимир Александрович задал, кажется, написать об опричниках по Лермонтову?

— Ты права, мое дело теперь — писать об опричниках! По поэме Лермонтова о купце Калашникове и опричнике... Купца вот помню, а опричник — сволочь, и имени не могу запомнить!

— Кирибеевич. Он не виноват, что полюбил чужую жену.

— Опричник что такое, Соня? Опричник из выгоды все делает, ему на совесть наплевать, революционер действует не из выгоды, революционер пойдет на смерть. А теперь? Революция победила, на смерть идти не надо,— ре-

волюционер теперь кто? Такой же, как все? Ему дают деньги — он работает. Семью кормит. Будет хорошо работать — будет хорошо жить.

— Кто-то сказал: смиренно жить ради идеи труднее, чем жертвовать ради нее жизнью.

— Тот, кто это сказал, не жертвовал жизнью.

— Может быть. Но тот, кто жертвует жизнью, требует потом за это хорошую плату. И занимает лучшие места...

— Я не хочу платы, Соня, я не хочу дома, не хочу денег, я хочу только знать, что негра в Африке никто не обижает. Ты это можешь понять?

— Не могу. Негр ничем не лучше тех, кто его обижает. Негр тоже может обидеть.

— Я буду против всех, кто обижает, Соня, даже если это будешь ты.

— А ты?..

— Что я?

— Ты не можешь обидеть?

— В Льеже мы были у одного рабочего. Говорили о восстании. Рабочий заснул. Я его обозвал старой калошей. Еще хуже — сказал, что я бы на его месте вообще не стал жить. А он в ночной смене работал, на оружейном заводе, Литвинов потом сказал...

— Значит, можешь обидеть?

— Могу. Характер плохой.

— А с тобой кто будет бороться? Или ты не разрешаешь обижать только другим?

— Что ты хочешь сказать, Соня?

— Кто хочет справедливости, борется прежде всего с собой.

— Значит, так: на улице бьют старуху, а ты сидишь дома, смотришь в окно и борешься с собой?

Как-то Соня сказала:

— У тебя был предшественник, Семен, он боролся с ветряными мельницами.

Он не знал тогда еще о Дон Кихоте и спросил, о ком она говорит. Она серьезно ответила:

— О хорошем человеке. Он готов был за каждого пойти на смерть.

— И боролся с мельницами?

— Какое имеет значение — с кем?

— Он умер?

— У него была только душа, а душа, говорят, бессмертна.

— А! — сказал он.— Ты это о Христе? Ты веришь в бога?

Так, неожиданно, он спросил ее о том, о чем давно хотел и не решался спросить. И она ответила не задумываясь, что да, верит, в непостижимый разум, который устроил мир таким, каков он есть.

— Что же делать, Соня, сидеть сложа руки?

Она рассмеялась, чему-то обрадовалась, обняла его, быстро, весело говорила:

— Ты типичный неистребимый Дон Кихот! Ты больше Дон Кихот, чем сам Дон Кихот! И знаешь что? Ты никогда не умрешь, как Дон Кихот. А еще что, знаешь? Я тебя люблю. Я тебя люблю очень нежно!.. Так можно любить только ребенка. Видишь, как я удобно устроилась,— у меня в одном лице и муж и ребенок. И никого мне больше не надо. И бог с ним, с миром, у нас хватит своих дел!

Потом рассказывала о Дон Кихоте, а он слушал и удивлялся: так любит этого Дон Кихота и не верит в справедливость!

Он оглядел фотографии на стене — интеллигентные люди, что они знают о справедливости? Ждут, пока львы и куропатки сольются в одну душу? Если даже и сольются — когда это будет? Чехов пишет — через миллионы лет! А до этого? До этого все равно надо жить как люди. Соня и все эти ее родственники всегда жили как люди.

И не знали, что другие живут, как скоты. Он вспомнил, как мать говорила об отце — о том, что отец не знает, что с собой делать. Отец всех топтал. И мать топтал. И меня бы растоптал, и сестер... А я бы сидел и ждал, когда отец сольется со всеми в одну душу. Нет, Соня, я знал, что я делал, я не искал выгоды даже для сестер. Справедливость что такое? Это когда выгодно для всех. Когда-нибудь все поймут, что самое выгодное — справедливость. Но если одни это поймут, а другие не поймут, что толку, что одни поймут? Другие все равно будут им мешать. И в этом все дело, Соня. Все дело в том, чтоб все поняли. И для этого нужна мировая революция. Чтоб никто не тратил жизнь на то, чтобы топтать другого.

Он постоял у окна, прошелся по комнате, посмотрел на часы — удивился: семь, а еще светло?.. Середина апреля, вспомнил он с облегчением и как будто решил задачу, которая его мучила. Сел за стол, перечел то, что написал об опричниках, и подумал: интересно, что стало с опричниками после смерти Грозного?.. О чем я думаю, удивился он, Ленин проводит нэп, Игнатьев едет в Финляндию торгпредом, Богданов создал институт крови, Владимир Александрович преподает в двух школах, по вечерам читает лекции, Соня с утра до ночи в больнице, засыпает, сидя за столом,— а я думаю об опричниках. И Соня говорит: слава богу, у тебя есть время думать!.. Если остановиться посреди реки и думать, что будет? Река унесет. Ты не видела, когда я действовал. В шестом году меньшевики кричали: революция погибла, восстание невозможно. А Ленин что сделал? Послал в Бельгию Литвинова — покупать оружие. На миллион рублей — восемьсот семьдесят пять тысяч московского экса и двести тысяч квирильского — больше миллиона! На все — оружие!.. И главное — переправить! А как? В Европе полиция заодно с русскими агентами. Немецкие эсдеки сказали: оружие перевезти невозможно. Потом я поехал в Льеж...

В Льеже он застал Кавтарадзе и Мдивани. Они приехали из Парижа. В Париже была штаб-квартира Литвинова. Мдивани закупил партию швейцарских винтовок и тут же уехал, а Кавтарадзе остался еще на месяц и познакомил его со Стомоняковым. Стомоняков повел его к Шредеру.

Шредер оказался высоким шестидесятилетним, с сильным спортивным телом, с чистой, без единого волоска лысиной — длинный покатый лоб тянулся через всю голову до затылка. Шредер по-детски откровенно уставился на него умными глазами и о чем-то по-немецки спросил Стомонякова. Стомоняков сказал:

— Господин Шредер удивлен, почему так много нерусских людей стараются для русской революции?

Стомоняков говорил по-русски с приятным болгарским акцентом. Сидели в рабочем кабинете Шредера. На большом письменном столе с массивными, словно разбухшими от тяжести ножками ничего не было, кроме маленькой белой статуэтки: обнаженная женщина без рук. Какое удовольствие смотреть на женщину без рук, подумал он, вероятно, марка фирмы, напоминает, что оружие калечит... А зачем столько книг? Чтоб торговать оружием, тоже нужно читать книги?.. Шредер сидел за письменным столом, и стена за его спиной от пола до потолка была заставлена книгами.

Он спросил Шредера:

— Это все про оружие?

Шредер, не отрывая от него улыбающихся глаз, сказал на чистом русском языке:

— Господин Камо говорит по-русски? Это еще труднее, чем делать русскую революцию. В молодости я был представителем фирмы в России. Пять лет. И только перед самым отъездом стал говорить. Обидно! Впрочем, сейчас русский язык пригодился. Основная клиентура фирмы — русские и македонцы. Но македонцы освободятся

от турок и больше не будут покупать оружие. А вам, после вашей революции, оружия понадобится еще больше — у вас будет гражданская война. Если, конечно, вы не шутите и сделаете серьезную революцию.

Шредер произносил слова легко и уверенно, и казалось, все, что он говорит, само собой разумеется. Он слушал Шредера и думал: почему Шредер все время улыбается, как будто боится, что станет видно, какое у него лицо без улыбки? А на русской революции Шредер готовится хорошо заработать, подумал он и неожиданно сказал:

— Когда мы сделаем революцию, мы прежде всего захватим склады с оружием. Тогда ваше оружие больше не понадобится.

— Очень предусмотрительно,— сказал Шредер с улыбкой.— Я к тому времени уже ничего не сумею вам продать: у меня будут покупать немцы и французы, чтобы задушить вашу революцию. Но я отвлекся и не ответил на ваш вопрос, господин Камо. Несмотря на то что я торгую оружием, эти книги не имеют отношения к оружию. Я держу только великих писателей. Они напоминают, что кроме дерьма, в человеке есть кое-что еще.

Глаза Шредера на миг потемнели и снова улыбнулись. Он прибавил:

— Единственное порочное существо в природе — человек. И все оттого, что господь наделил нас разумом. Это, конечно, позволяет увидеть собственную гнусность даже прежде, чем совершишь ее, но тем не менее мы не перестаем совершать гнусности, кто знает, может быть, поэтому и тоскуем по тому, что называют «добром». Если бы мы действительно умели делать добро, нам не о чем было бы тосковать — и как бы мы тогда жили?.. Парадокс? Но парадокс — единственное, что внушает надежду: только парадокс несет в себе истину. Ну а теперь, когда я вам открыл, что есть истина, ответьте все-таки на мой вопрос: господин Стомоняков, я удивляюсь, когда вижу, как вы

стараетесь для русской революции и отдаете для нее свой последний сантим. Я бы понял вас, будь вы русский, но вы болгарин.

Стомоняков помолчал, словно не зная, отвечать ему или нет, потом сказал:

— Если это единственное, чего вы не понимаете, господин Шредер, считайте меня русским.

— Вам все равно, кто вы? — спросил Шредер с любопытством.

Стомоняков кивнул.

— Учтите,— Шредер продолжал улыбаться.— Социализм в Европе — это заблуждение! Европа прошла это заблуждение в своих утопических снах.

— Европа и не могла это сделать в реальности — у нее не осталось нравственной энергии,— сказал Стомоняков.

Шредер откинулся на спинку старинного кресла, в котором сидел, минуту молча смотрел на Стомонякова и сказал скороговоркой и словно про себя:

— Так, так, рабская Россия, только что вышедшая из крепостного права, несет Европе нравственную энергию?.. А куда дела Европа свою нравственную энергию, господин Стомоняков?

— Она ее израсходовала на приобретение капитала,— сказал Стомоняков,— теперь Европа не знает, для чего жить, но у нее есть на что жить.

— А Россия знает, для чего жить? — Шредер спросил это с искренним удивлением.— Россия живет, чтобы сделать мировую революцию?

— Для этого России достаточно сделать революцию у себя,— сказал Стомоняков.— Мир сам пойдет за ней. И поэтому столько нерусских людей стараются для русской революции, господин Шредер. Это очень просто.

— Простые формулировки заманчивы,— сказал Шредер улыбаясь.— Но мир сложен. И всему свое время. Так говорит Екклезиаст. Кстати, так говорит и ваш Маркс.

Россия — эмбриональпая страпа, ей еще предстоит пройти то, что Европа прошла за последние триста лет. И ей тоже придется потратиться на приобретение капитала, чтобы было на что жить. Посмотрим, сохранится ли у пее после этого желание делать мировую революцию. Не говоря уже о нравственной энергии!.. И в чем вы ее усмотрели, эту русскую нравственную энергию? Может быть, в их собственном рабстве, которое они с такой настойчивостью донесли почти до наших дней?

Шредер улыбнулся еще шире и развел руками, как бы извиняясь, что на все это нельзя возразить. Стомоняков молча смотрел на Шредера и, казалось, ждал, когда тот перейдет наконец к делу. Шредер достал с полки лежавшую отдельно книгу и стал ее перелистывать.

— Это стихи древних,— сказал он,— здесь есть и армянские поэты, господин Камо. Разумеется, в немецком переводе. Я читал вчера перед сном. Я всегда перед сном читаю хорошие стихи. Это помогает душе проснуться. Так вот, у армян я прочел вчера такпе стихи... Не могу найти! — Шредер захлопнул книгу и положил обратно на полку.— Я запомнил одну строчку. Она меня поразила: «Вечно телом душа стеснена»... Забыл имя поэта... Кажется, тринадцатый век... Так вот, господа, с тех пор ничего не изменилось. И не изменится. Душа должна быть стеснена телом. Это сохраняет равновесие. Вы хотите нарушить равновесие, хотите красную истину, или истину со знаком «плюс»,— такой не бывает, господа.

Шредер замолчал, весело посмотрел на Стомонякова и спросил:

— Что вы па все это имеете возразить?

— Мы пришли купить у вас оружие, чтоб сделать революцию,— сказал Стомоняков.— Этого возражения вам недостаточно?

— Но оружие, которым вы хотите мне возразить,— мое! — смеясь, сказал Шредер.— Скорее это мое же воз-

ражение самому себе. Правда, я продаю вам это оружие, но могу и не продать!

— Не можете,— сказал Стомоняков,— для того вы и придумали истину с парадоксом, чтоб спокойно продавать оружие каждому, кто может его купить. А мы можем купить. На миллион рублей. Как видите, возражения наши вполне самостоятельны.

— Хорошо, хорошо,— скороговоркой и опять словно про себя сказал Шредер.— Я не сомневаюсь, что вы сумеете мне возразить. Так возражайте!..

— Для этого надо сделать революцию в России, потом в Европе, потом во всем мире,— сказал Стомоняков.— К сожалению, это займет лет сто. Пустяк! Но нас с вами не будет. Разговор продолжат другие.

— Жаль! — сказал Шредер серьезно.— Забавная ситуация, господа: я — торговец, то есть, с вашей точки зрения, капиталист, враг. Вы приходите ко мне за оружием, которое в конце концов направите против меня, и я это оружие вам даю. А вы даже не хотите со мной поговорить. Не великодушно, господа!

— И вы даете оружие не из великодушия,— сказал Стомоняков.— А возражения вам нужны, чтобы найти, чем их опровергнуть. Выходит, нам вы оружие даете за деньги, а у нас хотите получить нечто из великодушия. Нарушаете закон коммерции, господин Шредер.

— Прекрасно! — Шредер снова улыбнулся.— Я люблю людей с юмором, тем более когда это — мои клиенты. В этом случае юмор приобретает, я бы сказал, особую пикантность, вы не находите, господа? Юмор — это черта, с которой для меня начинается человек. Впрочем, вы, вероятно, с этим не согласны: насколько мне известно, вы боретесь за счастье большинства, а большинство потому и несчастно, что лишено юмора.

— Откажитесь от ваших денег и насладитесь счастьем, которое дает вам юмор,— сказал Стомоняков.

Шредер досадливо отмахнулся.

— Вы — максималисты, господа, вы хотите все в этом мире свести к одному-единственному решению!

Стомоняков устало посмотрел на Шредера.

— Господин Шредер,— сказал он,— вы держите книги великих. У вас должна быть маленькая книжечка — самая великая за всю историю до сих пор. Она доставит вам массу удовольствия — там все против вас! Книжка называется «Коммунистический манифест».

— Я читал ее! — радостно сказал Шредер.— Очень трогательная книжечка. Знаете, сколько было ее авторам, когда они ее написали? Не было и тридцати! Но у Маркса есть еще одна великая книга — «Капитал». Она показала, что человек одновременно и хозяин и раб...

Стомоняков перебил:

— Почему же одновременно? В том-то и дело, что не одновременно: вы — хозяин, а ваш рабочий — раб.

— Вы недооцениваете Маркса, господин марксист,— весело сказал Шредер.— «Капитал» — не листовка, призывающая к восстанию. «Капитал» как раз доказывает бессмысленность революции. Потому что раскрывает вечное противоречие, которое нельзя уничтожить и которое революция хочет уничтожить. А все из-за вашего плохого образования, господа революционеры. Оно и понятно — где вы его получали? В тюрьмах! Вы следствие принимаете за причину. Сделайте раба хозяином и посмотрите, что из этого выйдет. В Библии сказано: ничего нет страшнее раба, ставшего господином. Противоречие в человеке, господа,— вот причина причин! Но попробуйте уничтожить ее — и вы уничтожите жизнь.

Он вмешался в разговор неожиданно для себя. Все время, что молчал, он мысленно подталкивал Стомонякова. «Ну давай же, давай!» И вдруг, не замечая того сам, словно оттолкнул Стомонякова и вышел вперед:

— Значит так: раб всегда будет раб?! Что бы вы сказали, если бы сами были рабом? Если б знали, что всю жизнь будете рабом, до самой смерти?! А знаете, что такое раб, господин Шредер? Раб — это буйвол, его бьют — он тянет! Какое противоречие?!

Шредер рассмеялся.

— Извините, господин Камо,— сказал Шредер.— Я не ожидал такого простого довода. Я представил сейчас себя рабом — и знаете, мне тут же захотелось сделать революцию!.. Но вот я снова перестаю быть рабом и вспоминаю, сколько за всю историю было революций. Господь бог время от времени перемешивает человечество: низших — наверх, верхних — вниз. А по существу, и наверху — рабы: сидим на деньгах, встать не можем — какая свобода?

Стомоняков достал из кармана жилета часы, посмотрел и, заталкивая их обратно, сказал, не глядя на Шредера:

— Какой же смысл делать рабов господами, если господа тоже рабы, господин Шредер? Мы уничтожим то, что создает рабов.

— Да, да! — весело подхватил Шредер.— Я знаю, вы отменяете частную собственность. Это прекрасно! Но как вы собираетесь это сделать? Не думали ли вы о том, откуда взялась эта проклятая собственность? Не придется ли вам для этого отменять человеческую природу, господа!

— Нет,— сказал Стомоняков.— И в этом все дело... И в этом все дело,— повторил он, словно не зная, стоит ли говорить дальше.

— В чем же все-таки дело? — спросил Шредер.— Вы заговорили серьезно, господин Стомоняков, и у меня появилась надежда...

— Дело в элементарной арифметике,— перебил Стомоняков.— Для вас в человеке, как вы сказали, «дерьмо» и еще «кое-что», и, судя по всему, это «кое-что» — разум.

Но его так мало, что только на вечернее чтение и хватает. Я правильно передаю то, что вы сказали?

— Да, да! — поспешно сказал Шредер.— Не беспокойтесь — абсолютно точно! Кстати, разума хватает еще и на инстинкт самосохранения.

— Не имеет значения,— сказал Стомоняков.— Дело только в арифметике. Для вас в человеке больше дерьма, чем разума, для нас — наоборот. Мы видим разум — и надеемся на него. Вы видите дерьмо — и ни на что не надеетесь. Это удобно. Особенно в вашем положении. Ничего не надо менять. Все остается, как есть. А перед сном можно почитать стихи древних. Кстати, Камо прав — то, что «душа стеснена телом», чувствует тот, у кого тело достаточно свободно. У раба одно желание — освободиться от рабства. Да и душа господина не очень чувствует «стеснение» — у него есть забота погрубее: как сохранить рабство! Стихи, которые вы вспомнили, написал не раб и не господин, а поэт — самый свободный человек, он мог чувствовать «стеснение души». Я понимаю ваше желание устроить себе комфорт, без которого вам неудобно читать великих писателей. Даже перед сном. Но великие писатели для того и писали, чтоб не дать вам спокойно заснуть. Сколько бы вы ни затыкали уши вашей парадоксальной философской ватой, совесть пробьется через нее. Совесть и есть истина, и когда-нибудь вам станет ясно, что только от нее и зависит ваше счастье. Но пока вы отделяете истину от счастья и даже противопоставляете их, потому что иначе станет ясно, что это — одно и то же. И тогда нарушится главное равновесие, то, ради которого понадобилась вся ваша философия: равновесие между вот этими книгами и вашими счетами...

Стомоняков словно вдруг вспомнил, что не хотел говорить, и замолчал. Шредер улыбался.

— Я предвидел, что разговор не будет иметь смысла,— сказал Стомоняков.

— Хорошо! — сказал Шредер.— Я сейчас расскажу, что с вами будет... Прежде всего, сразу после революции будет гражданская война. Об этом я уже сказал. Так было со всеми революциями до сих пор. Так будет и с вами. С вами будет хуже. Если вы отмените частную собственность, против вас выступит весь мир. Не говоря уже о тех, кто будет против вас в самой России. Их тоже будет немало. Я думаю, больше, чем вас. Россия — крестьянская страна, и никто не любит частную собственность больше, чем крестьянин. Русский крестьянин тоже пойдет против вас. Вот, собственно говоря, и все, что с вами произойдет!.. Дело не в том, что вас разгромят. Допустим невероятное, чудо — вы победили!.. Что вы приобретете? Разоренную после гражданской войны страну? Что вас может спасти? Только европейские займы. А что это значит? Это значит, что, не впустив Европу ценой тысяч жертв во время войны, вы откроете перед ней ворота после войны. У вас не будет выхода. А знаете, к чему это приведет? К тому, что Россия станет европейской колонией. Большой колонией. Как Индия... Но дело не в этом. Допустим еще одно чудо! Допустим, и здесь вы найдете выход и путем нечеловеческих жертв и железной власти обойдетесь без займов, не впустите Европу и останетесь самостоятельным государством... Тогда ваша страшная русская гражданская война покажется вам детской забавой. Против вас бросят лучшие армии Европы, и, как бы вы ни готовились к такой войне, вы не успеете создать промышленность, чтоб устоять перед техникой Европы. И опять вам никто не поможет. Вы будете одни, одни! — Шредер поднял руку, выставил палец и с состраданием посмотрел на Стомонякова.

Стомоняков молчал. Шредер опустил руку и сказал:

— Вы ждете продолжения?.. Хорошо. Я готов допустить еще одно чудо, еще более невероятное: вы успеваете создать промышленность и вы побеждаете в этой вой-

не! Заметьте, я уже допустил третье чудо, все три — совершенно невероятны; до сих пор ни одна революция не справлялась даже с гражданской войной. Итак, вы побеждаете и в этой самой страшной за всю историю войне.— Шредер снова откинулся на спинку своего старинного кресла и скрестил на груди руки — если б не улыбка, казалось, что он действительно готовится произнести приговор.— Что будет дальше?.. Война есть война, и она вас снова разорит. И вам снова надо будет рассчитывать только на себя. Но и это уже будет не самое страшное, что вас ждет. Поверьте человеку, который всю жизнь возится с оружием и следит за всем, что в этой области делается! Лет через пятьдесят будет создано оружие, о котором сейчас пока пишут в фантастических романах,— оружие, для которого даже не потребуется войны: просто направят в вашу сторону луч — и вас не станет. И в одном вы можете быть уверены твердо — это оружие создадите не вы. У вас не будет свободных денег, чтоб его создать. И тогда вам не останется ничего другого, как капитулировать.

Стомоняков впервые за все время улыбнулся.

— Господин Шредер,— сказал Стомоняков,— вы так щедро допустили три чуда, допустите еще одно: допустите, что оружие, на которое у нас не хватит денег, что это оружие каким-то «невероятным чудом» создадим и мы. Что будет тогда?

— Если б такое чудо стало возможным, оно бы было последним на земле,— сказал Шредер.— Жизнь была бы уничтожена.

— В таком случае соберите весь свой юмор, господин Шредер, и допустите еще одно, пятое чудо, последнее,— сказал Стомоняков.— Допустите, что жизнь при этом не будет уничтожена. Не будет ли это означать, что победит разум.

— Именно поэтому я этого чуда и не могу допу-

стить! — сказал Шредер с неожиданной горечью.— Я уже сказал: разума у людей хватает только на вечернее чтение!

— И на инстинкт самосохранения! — Глаза Стомонякова весело прищурились.— Все хотят жить — даже пессимисты. И все приспосабливаются к условиям жизни. С того момента, как изобретут этот ваш «луч», единственным условием жизни станет разум. И тогда все, что до сих пор считали утопией, станет реальностью, потому что не будет другого условия для жизни. И, кстати, станет ясно, что всегда были правы те, кто верил в разум.

Стомоняков замолчал. Шредер снисходительно улыбнулся... А он, молча слушавший их, вдруг увидел сквозь улыбку Шредера странное жалостливое выражение и заметил, что уголки губ у Шредера опустились, как у обиженного ребенка. Ему стало жалко Шредера и захотелось переубедить его, и он даже представил, как Шредер соглашается помогать им и отдает бесплатно оружие, а потом приезжает в Россию, участвует в революции и говорит со всеми по-русски. Он спросил Шредера:

— У вас есть мать?

Шредер ответил бесстрастно, подавляя удивление:

— Я хожу каждую неделю на ее могилу.

Он сказал:

— У меня тоже мать умерла. Я не могу ходить на ее могилу. Я все время думаю о ней. Я и сейчас ее люблю, как будто она живая. А ваша мать была добрая?

— Да,— сказал Шредер.— Она была единственно добрая из всех, кого я знал.

— Видишь! — сказал он радостно и не замечая, как переходит на «ты».— Ты веришь, что твоя мать была добрая... Теперь спроси свою мать, что она думала: что в тебе — дерьмо или разум? Я знаю, что моя мать ответит, если я ее спрошу. Ты тоже знаешь, что твоя мать ответит. И все знают... А теперь скажи, кто тогда думает, что

в человеке больше дерьма? Ты тоже не думаешь! Раз ты не можешь так думать о своей матери и твоя мать не может так думать о тебе, как ты можешь так думать о других?.. А ты что говоришь?! Почему говоришь?.. Ты сам сказал: господин тоже раб. Ты книги читаешь... Второй жизни не будет. Зачем жить глупо, если можно жить умно? Ты что делаешь? Сидишь на деньгах, а другие сдыхают с голоду? А ты говоришь: это не я дерьмо, а все дерьмо, ничего изменить нельзя! Если хоть один человек на этом свете живет не так, как ты, если даже только твоя мать жила не так, значит, и ты можешь. А почему не живешь, знаешь? Боишься, что тоже подохнешь с голоду! Почему люди, как звери, живут, друг у друга отнимают — кто больше отнимет, тот сильнее?! Христос сказал: отдай последнюю рубаху? А ты что делаешь? Перед церковью нищим копейку даешь? Если даже шубу свою снимешь и отдашь — поможешь? Ты отдашь — другой не отдаст. Что делать? Надо, чтобы люди не для того жили, чтобы кушать и богатство свое показывать, чтобы не в этом было дело, понимаешь?.. И для этого надо сделать одно простое дело — чтобы у всех было то, что им надо. Тогда никто не будет стараться иметь больше, чем у другого. Зачем? От этого никто не будет уважать больше, будут смеяться: посмотри, дурак, набрал барахло, не знает, что теперь делать!.. Жизнь умной станет. Все поймут, что человек может жить как человек, а не как зверь. Раз человек знает, как лучше жить, так он и должен жить. И для этого, если надо чудо, сделаем чудо! Пять раз надо чудо — пять раз сделаем чудо, десять раз надо — десять раз сделаем! Потому что это такое дело, какое еще никто не делал. И пока это не сделаем, человек не будет человеком. А до каких пор человек будет, как зверь?

Он замолчал, и ему показалось, что Шредер и Стомоняков ждут, что он скажет еще. Потом Шредер сказал:

— Я в своей жизни не встречал такого свежего чело-

века, как вы, господин Камо! Мне было в высшей степени интересно вас слушать. Вы говорили со мной не как враг, а как человек, который помнит, что перед ним тоже человек. В чем наша беда, господа, в том, что мы забываем, что каждый из нас — такой же, как мы сами, что у каждого есть мать. Это очень важно, господа, очень важно!.. Господин Камо, я остаюсь при своей вере, или, точнее, при своем неверии. Я старый человек, я умру раньше вас, но когда совершатся все пять чудес — если они совершатся! — прислушайтесь к небесам — я крикну вам оттуда: «Браво!» А пока я дам вам лучшее оружие, которым располагает моя фирма. И дам вам совет. Германская полиция связана с русской тайной полицией. Англичане задержали недавно целое судно с оружием — тоже для России. Единственные, кому можно сейчас через Европу провозить оружие,— это македонцы. Вам надо связаться с македонцами. Это мои постоянные клиенты, и кое-кого из них я знаю.

Шредер дал адреса в Париже и в Болгарии и назвал имена.

Потом, когда они оформили счета и ушли, на улице Стомоняков сказал, что Шредер назвал тех, с кем давно связан Литвинов — македонцы уже согласились помочь с перевозкой оружия.

Он спросил, почему Стомоняков не сказал об этом Шредеру, Шредер — не враг, он хочет помочь... Стомоняков ответил: Шредер думает против нас. И он тогда впервые понял, что самое трудное впереди — не революция в России, и даже не мировая революция, а то, что надо всех убедить в том, в чем он не сумел сегодня убедить Шредера. Но для этого и надо сделать революцию, думал он, надо все показать на деле...

В Льеже он, как всегда, вставал в шесть утра, делал зарядку и обливался ледяной водой. В пансионате мадам Ирен, где он жил, в это время еще спали, и до завтрака

он ходил по темным улицам в толпе грузчиков и углекопов, которые выходили на работу раньше других. Они шли торопливо, с маленькими узелками под мышкой, и улица гремела под их деревянными башмаками. В их быстрой толпе он вливался в будничную жизнь города, и это помогало ему не чувствовать себя чужим. Потом весь день он проводил на оружейных складах.

В Льеже было туманно и моросил дождь. Но и под дождем в воскресенье встречали голубей: их увозили в клетках за город, отпускали и потом ждали, чей голубь прилетит первый. В воскресенье казалось, что люди живут хорошо — сидели в кафе, пили вино, играли в кегли, катались с детьми на речных пароходах с разноцветными флагами. А наутро он снова уходил в гремевшую толпу, и в светлеющем небе плотно чернели впереди длинные трубы, а лица людей были неразличимы во мгле.

Он быстро вышел на все связи в Льеже и потом в других городах, куда ему приходилось выезжать, и люди, разные и часто незнакомые друг с другом, участвовали в его деле, и от этого становилось еще яснее, что то, что их связывает, выше них — выше их радостей, забот, привязанностей и всего другого, что есть в каждой жизни. Здесь, за границей, он впервые увидел свое дело без тех людей, с которыми был связан в России и от которых оно было для него неотделимо; он верил им, и эта вера переходила потом к тому, чем они занимались, а здесь он как бы узнавал свое дело в «чистом виде», во всей его самостоятельной силе и способности объединять людей, и от этого и люди, с которыми он так легко и стремительно сходился, открывались ему сначала же в самом своем главном — в том, что́, несмотря на их безбедную (почти у всех) жизнь, заставляло их рисковать собой. И, может быть, от всего этого, от этой отделенной от привычных знакомых людей и возросшей через новых, до этого незнакомых людей веры он особенно ясно чувствовал те-

перь то, что до этого само собой разумелось, но о чем он не думал — что все они и в России, и здесь, в Европе, и во всем мире начинают наконец одно общее дело, которого мир ждал столько тысяч лет. И было странно, что все, кто ему помогают, все эти в общем обыкновенные и простые люди участвуют в таком великом и невиданном до сих пор деле — и Стомоняков, которого он впервые узнал в Льеже, но про которого и до этого слышал, что он занимался переброской оружия и нелегальной литературы и был арестован в России в 1904 году за участие в студенческом движении и выслан как болгарский подданный в Болгарию и тогда стал распространять марксизм в Болгарии, а потом уехал в Льеж и стал учиться в Льежском университете; и товарищ Стомонякова по университету Нерсесов, техник, помогавший при переделке оружия; и петербургский рабочий Шаповалов, работавший на Льежском патронном заводе, тот самый, что при первой их встрече уснул, а он назвал его «старой калошей»; и студент-армянин из Астрахани Петя Турпаев с братом Мелкумом, тоже студентом; и жена Шаповалова Лидия Романовна, с которой Петя Турпаев занимался закупкой оружия до приезда Литвинова; а после приезда Литвинов открыл в Париже посредническую контору Лелкова, и приезжавший в Париж по поручению Красина Буренин встречался там с Наумом Тюфекчиевым (который в пятом году в России помогал Красину производить бомбы-македонки), а потом Литвинов выдавал себя за представителя южноамериканской республики Эквадор и объезжал порты Голландии, Бельгии, Франции, Италии и Австро-Венгрии, чтоб выбрать удобный для погрузки оружия порт, и наконец решили грузить оружие в Варне, и Литвинов поручил это дело ему; он выехал из Льежа в Берлин и связался с берлинским большевистским издательством (через издательство из России поступали деньги на закупку оружия), и директор издательства болгарин Роман

Аврамов связал его с организатором македонского Комитета освобождения Борисом Сарафовым, а Сарафов оформил документы на оружие от имени македонской организации для турецких армян, и с такими документами оружие открыто грузили в Бельгии и Германии, и в июле шестого года оружие уже перевезли в Варну, и после этого оставалось только купить пароход, но, пока перевозили оружие в Варну, меньшевики в Стокгольме на съезде прошли в ЦК, и деньги из России перестали поступать; Литвинов писал в ЦК письма, предупреждал: осенью начнутся штормы, все может сорваться, в Варне вагоны с оружием вызывают подозрение, потом сам поехал в Петербург и вырвал все, что осталось от кавказских денег, и только в сентябре в Фиуме под именем Тюфекчиева заключил договор о покупке за тридцать шесть тысяч франков яхты «Ива», яхту отремонтировали там же, в Хорватии, на острове Люсин Пикало, переименовали в «Зору» и отправили в Варну, купив команде обратные железнодорожные билеты до Фиума, а новая команда из семи человек приехала в Варну из Одессы через Стамбул, и шестеро из команды были потемкинцы, и сам Каютенко, ставший капитаном «Зоры», был потемкинцем; а Тюфекчиев и Сарафов к тому времени убедили болгарского царя Фердинанда дать согласие на перевозку через Болгарию оружия для борющихся турецких армян, и еще помогал в Варне болгарский купец Найденов, армянин по происхождению, тоже уверенный, что оружие отправляется для освобождения армян, и помогал болгарин Стоян Джоров, социалист, грузчик в порту Варны, и были еще другие — и в Болгарии, и в Бельгии, и в Берлине, и в Фиуме, и на острове Люсин Пикало, кто им помогал...

Из Варны «Зора» вышла 12 декабря. Провожали Литвинов и Стомоняков. Было десять часов утра. «Зора» взяла курс на Трапезунд. На мачте развевался болгарский флаг. В каюте капитана были еще флаги: румынский, ту-

рецкий и русский. На Кавказ Литвинов советовал повернуть только в открытом море. В открытом море начался шторм.

Но еще до шторма он почувствовал тошноту, стала кружиться голова. В море он был впервые, и эти признаки морской болезни удивили его. Он заперся в своей каюте, лег на койку и закрыл глаза, чтоб не видеть, как наклоняется и падает на него потолок. Но и с закрытыми глазами чувствовал, что валится куда-то вниз и в сторону, как будто опрокидывают койку, на которой он лежит, а потом показалось, что проваливается внутрь себя, и его стало рвать. Он сполз с койки, почти на четвереньках, хватаясь руками за ступеньки, поднялся на палубу. Палуба вздымалась под ногами. Он вцепился руками в борт. Кто-то сзади его обнял, кричал в самое ухо, но он не мог различить слов, потому что в ушах гудело.

Потом он снова лежал на койке и уже ясно видел у самого своего лица лицо Каютенко и как тот выжимает ему в рот лимон. Вдруг Каютенко исчез, и тогда он взял лимон сам и стал высасывать его, потому что все вокруг по-прежнему опрокидывалось и неслось вниз, и он понимал, что это кружится голова. Каютенко вернулся не скоро и не подошел к нему, а остановился в дверях, и его удивило, что лицо Каютенко и вся одежда на нем мокрые, и он хотел спросить, что случилось, но Каютенко опередил его и крикнул, что начался шторм...

И тогда он услышал вдруг грохот волн, и еще доносились с палубы крики людей. Он вскочил с койки и, не замечая, что сразу почувствовал себя здоровым, взбежал по узким крутым ступенькам на палубу. В потемневшем грохочущем пространстве легко и весело раскачивалась во все стороны верхушка мачты с флагом. Волны подымались над палубой и заливали ее потоками воды, и тогда палуба исчезала под водой и казалось, что корабль потонул.

На палубе никого не было. Из люка машинного отделения вылезал коренастый человек в тельняшке. Он узнал кочегара болгарина Христова. За Христовым вышел Каютенко, что-то крикнул, Христов, спотыкаясь, побежал по палубе в сторону кормы, исчез в хлынувшей на корму волне, снова появился, нырнул в какой-то люк.

Он пошел к Каютенко, хватаясь обеими руками за борт палубы, и Каютенко, увидев его еще издали, что-то крикнул, но он не расслышал, а когда подбежал ближе, палубу снова залило, и он упал, а Каютенко продолжал стоять, ухватившись руками за перила над люком, и крикнул, выплевывая воду и задыхаясь:

— Что, начальник, помог лимон?! Теперь ничего не поможет!.. Машину залило...

Он вскочил на ноги, оттолкнул Каютенко и, не понимая еще, что делает, хотел полезть в люк сам, но снизу кто-то поднимался, и он увидел задранное вверх плоское лицо с большими измученными глазами и не успел узнать, кто это, потому что яхта резко накренилась и его отшвырнуло к борту палубы, но услышал, как тот, что поднимался, крикнул снизу Каютенко, что пробоину закрыли, и, видно, снова спустился, потому что не вышел из люка. А Каютенко вдруг сказал словно самому себе, но он услышал, что теперь остается надеяться только на бога. Он понял это как радость Каютенко от того, что удалось закрыть пробоину, и, тоже радуясь, сказал, что надеяться можно на кого угодно, даже на бога, нельзя только менять курс, и тогда Каютенко стал кричать:

— Курс один — к черту в пекло!.. Ты что, оглох?! Или не веришь собственным ушам? Мотор не работает! Будем болтаться, пока не потонем! Моли бога, чтоб кто-нибудь подобрал!

Он схватил Каютенко за грудь и стал трясти:

— Какой бог?! При чем бог?! Почему не работает мотор?!

Потом, вспоминая это, он думал, что, конечно, слышал то, что сказал Каютенко о моторе, и даже, несмотря на грохот волн, слышал, что мотор не работает, но он не хотел этого понять, потому что тогда он должен был понять и то, что «Зора» никуда больше не пойдет и не доберется даже до ближайшего берега,— и это была первая в его жизни и такая грандиозная неудача. Он тогда хотел взорвать яхту — в трюме на случай неудачи была «адская машина», и провода от нее вели в его каюту. Но Каютенко сказал, что зачем взрывать яхту, когда оружие и так все пойдет на дно, и команду нельзя посадить на шлюпки, чтобы спасти, и он сам знал, что взрывать надо, только если их задержат в русских водах — тогда оружие станет основанием для шумного процесса и, может быть, даже для смертного приговора, и он сказал о взрыве не потому, что думал о том, что их ждет, а потому, что в тот момент вообще не думал о дальнейшем и не знал, что теперь делать, если даже останется жив. О том, чтоб взорвать, он сказал Каютенко там же, на палубе, у люка в машинное отделение, после того как схватил Каютенко за грудь, а тот не ответил, и тогда, теряя от бессилия и отчаянья рассудок, он крикнул, что взорвет яхту, а Каютенко, не глядя на него, спокойно и даже небрежно сказал, что оружие все равно погибнет. И после этих слов палубу опять накрыла волна, а когда вода схлынула, он увидел, что лежит, обняв Каютенко, а тот лежит спиной к нему и схватился за борт, и, не отпуская Каютенко, он сказал:

— Что делать, Каютенко, придумай, ты на «Потемкине» был!

Каютенко встал, помог и ему подняться и сказал:

— Привяжись к чему-нибудь, а то спесет!..

Он заплакал. (Каютенко не мог этого видеть, потому что лица у них обоих были залиты водой и сквозь грохот и свист ветра нельзя было расслышать даже громкое

рыдание.) Яхта проваливалась между волнами и тут же взлетала, раскачиваясь и накреняясь так, что флаг на мачте касался воды. В трюме протяжно и страшно скрипело, словно медленно, бесконечно открывались ржавые ворота...

Весь день и всю ночь шторм не утихал. К утру следующего дня трюм заполнился водой.

Спасли румынские рыбаки. Они возвращались с лова. С их рыбацкой шхуны он смотрел потом, как «Зора» тонула. На верхушке мачты все еще развевался флаг, волны поглощали мачту, а она выныривала, и в сером хаосе бури то и дело возникала верхушка мачты с флагом, и это было как сигнал, который кто-то подавал из глубины моря.

Потом он нанял на берегу людей и пытался выловить сетями оружие...

В Тифлис вернулся в конце зимы, удивлял всех веселостью, благодушием, таскался по духанам, исчезал, появлялся студентом, князем, кинто, офицером, карачогелом, в марте уехал в Петербург — в бурке, в белой черкеске, с паспортом князя Дадиани, в вагоне первого класса, был изящен, строг, пленил всех манерами и достоинством, объяснился в любви соседке по купе — молодой, рыхлой жене инженера (возвращается после курорта, знает петербургский свет), в Петербурге жил в лучшем номере гостиницы «Европейская», по ночам изготовлял бомбы в лаборатории Игнатьева, утром пьяно вваливался в гостиницу, давал швейцару рубль, требовал молока (все знали — грузинский князь опохмеляется молоком), читал о себе в «Петербургских ведомостях» («Вчера князь Кока Дадиани посетил графиню N»), уезжая в Тифлис, на прощание огорошил швейцара гостиницы пятаком, на вокзале, еще в фаэтоне, подозвал полицейского — снеси, голубчик, чемоданы! и уже в вагоне, медленно поднявшись вслед за полицейским, дал ему сэкономленный на

швейцаре рубль, до Тифлиса отсыпался, сошел с поезда перед станцией, у стрелки, где ждали Анета и Саша,— сбросил чемоданы, спрыгнул, потом шел с ними через сады, по кривым переулкам и улочкам Авлабара, шутил: полицейскому дал мало, чемоданы тяжелые, в Питере к ним не притрагивался, до фаэтона донес швейцар.

После его приезда Анета и Саша стали жить в Сололаках, в комнате с балконом и кружевными занавесками, по вечерам играли в лото, сплетничали с соседями, целыми днями сидели у окна, смотрели на улицу, никуда не выходили, зазывали мацонщика с хурджином, кинто с корзиной, иногда заходил знакомый офицер или студент — и так за несколько дней он переправил из Авчал в Сололаки все бомбы. Потом в Авчалах, в заброшенном сарае посреди сада, стал изготовлять бомбы вместе с Илико и Вано. Однажды бомба взорвалась, осколки вошли ему в левую руку и повредили правый глаз. Джаваир водила к знакомому глазнику Мусхелишвили, потом — в частную лечебницу Соболевского, Соболевский лечил ему руку. Анета и Саша прождали десять дней, взяли извозчика и приехали в Авчалы. Он их выругал, в наказание, экономя деньги, велел вернуться в Сололаки пешком.

Потом с утра просиживал в тесных портняжных, слесарных, часовых мастерских, что напротив главной почты на Михайловской улице. Улица у почты суживалась, лица чиновников, входящих по утрам в большую нарядную дверь почты, можно было разглядеть... Один из чиновников как-то обернулся на проходившую мимо женщину, наткнулся на дерево, поспешно извинился. Лицо чиновника было худое, узкое, с большими кроткими глазами. Вечером он прошел за чиновником до самого его дома на Черкезовской, недалеко от почты, дождался, когда в маленьком окне первого этажа зажегся свет, убедился, что чиновник живет один, и на следующий вечер по-



знакомился: чиновника толкнул проходивший мимо кинто, выругался, толкнул еще раз, с силой нахлобучил чиновнику на глаза фуражку, тот присел, молча, удивленно смотрел на обидчика, кинто, уже раздражаясь от его пассивности, громко ругался, и тогда он вышел из-за угла дома, откуда следил за ними, схватил кинто за шиворот, отбросил, поднял упавшую с головы чиновника фуражку, кинто убежал, чиновника звали Гиго Касрадзе.

Через несколько дней Касрадзе сообщил, что из главной почты деньги отправляют по трем направлениям: на Джульфу — для русских отрядов в Персии, на Батум — для чиатурских копий и в самом Тифлисе с почты — в контору Государственного банка.

Сначала был поезд. Поезд уходил из Тифлиса на Батум утром. Ночью проезжал Сурамский тоннель. Деньги везли так: кассир и помощник — в первом купе, двое солдат — рядом, в служебном отделении, с проводниками. За час до тоннеля, после Хашури, проводники должны были напоить солдат чаем, подсыпав в чай снотворное, и перед самым тоннелем открыть купе кассира. Грохот колес в тоннеле заглушал любой шум, даже крик.

Поехали вчетвером: он, Бачуа, Вано и Датико. Весь день, открыв двери купе, играли в карты, пили подкрашенную вишневым соком воду, Бачуа пел. Несколько раз заходили проводники, говорили, что все в порядке. В Хашури проводники пошли за кипятком и не вернулись. Первым узнал об этом Датико: солдаты спросили его, не видел ли он проводников? Солдаты стояли в коридоре и выглядывали в окно. Потом солдаты разбудили кассира. Бачуа хотел спрыгнуть, найти проводников и убить. До конца тоннеля все четверо сидели в купе, молчали, смотрели в грохочущее черное окно. Сошли сразу после тоннеля, в Ципе. К вечеру следующего дня вернулись в Тифлис. В тот же вечер Касрадзе сообщил о двухстах пятидесяти тысячах. 13 июня утром из главной почты в

Государственный банк повезут двести пятьдесят тысяч. 13 июня было на следующий день.

Собрались у Бочоридзе, ночью. Бочоридзе советовал напасть у Александровского сквера, сразу после моста. Кто-то, кажется, Бачуа, предлагал у почты, когда будут укладывать деньги в фаэтон. Эриванскую площадь назвал он. Бочоридзе принял за шутку. Он стал объяснять: на площадь выходит семь улиц, напасть можно со всех сторон и уйти легко, площадь большая, на тротуарах не пострадают, особенно если очистить правую сторону. Кто-то весело сказал: революцию не делают в белых перчатках! К тому времени уже зашел Шаумян, потому что, когда сказали о белых перчатках, ответил Шаумян, как всегда спокойно, негромко, прямо глядя в глаза собеседника грустными прекрасными глазами:

— Вы правы, но только потому, что у революции нет белых перчаток. Поэтому ее делают чистыми руками.

Утром, в белой черкеске с офицерскими погонами и аксельбантами, он прошел вдоль площади, по правой ее стороне, было жарко, у здания городской управы и на углах улиц стояли полицейские. Он подходил к прохожим па тротуаре, почтительно, не допуская возражений, просил перейти на другую сторону: сами понимаете, господа, их сиятельство граф Илларион Иванович объявили в городе военное положение, ожидаются события, прошу пройти!.. Заметивший его жандарм подошел, откозырял и стал тоже отсылать всех на другую сторону. Он кивнул жандарму и прошел на Гановскую, где его ждала пролетка.

С Гановской просматривалась вся площадь. На белых летних мундирах полицейских четко, вдоль ног, чернели шашки. Слева от Гановской, вверх к Мтацминда, на Сололакской, рядом с площадью, в тридцати шагах от угла — большой, со львами, подъезд банка. На противоположной стороне — Дворцовая, Пушкинский сквер, духовная семинария, караван-сарай и две улицы; если по-

едут с Лорис-Меликовской, объедут караван-сарай слева и свернут на площадь у штаба, если с Пушкинской, объедут караван-сарай справа, и тогда — по диагонали, через середину площади — на середину труднее добросить бомбы. Касрадзе сказал: поедут в двух фаэтонах; в первом — кассир банка Головня и его помощник Курдюмов, во втором — караульный банка и двое солдат, спереди, сзади и по бокам — казаки, деньги — в двух мешках в первом фаэтоне, к банку подъедут в 11 часов.

Он чувствовал, как бегут по спине струйки пота. На противоположной стороне площади, на краю сквера, в яркой красной шляпе стояла Пация Голдава. Шляпа на ее голове стала расширяться, и он сразу не сообразил, что это открылся зонт. Он понял это по тому, как Степко Инцкирвели стал закуривать. Степко разглядывал афишную тумбу у ворот штаба, и он увидел, что Степко закуривает прежде, чем сообразил, что Пация открыла зонт. Анета и Саша заглянули в дверь ресторана «Тилипучури», рассмеялись, отбежали, взявшись под руки и поминутно оборачиваясь, пошли в сторону штаба. Из ресторана, слегка покачиваясь, выходили Датико, Вано и Илико. Навстречу им мимо штаба с развернутой газетой, читая ее, медленно шел Бачуа.

Грохот копыт быстро надвигался и завалил площадь, прежде чем казаки выехали. Ехали по Лорис-Меликовской. У караван-сарая лежал верблюд. На длинной надменной шее вздымалась маленькая голова. Передний казак погрозил верблюду карабином, что-то сказал стоявшему у караван-сарая полицейскому, тот снял фуражку, достал платок, вытер голову и помахал казаку платком. Датико остановился у ворот штаба. Передние казаки проехали мимо Датико. У подъезда банка на Сололакской ждали караульные. Забили часы. Передние казаки свернули на Сололакскую. Фаэтон с деньгами проезжал мимо штаба. Датико взмахнул обеими руками, словно увидел

что-то страшное, и почти вместе с ним взмахнули руками Вано и Илико. Взрывы, продолжая друг друга, слились в один протяжный оглушающий гром, потом пронзительно звенели падающие по всей площади, и на Дворцовой, и во дворце наместника оконные стекла.

Он видел, как фаэтон на площади словно провалился, и на его месте взметнулся желтый дым. Неожиданно из дыма вырвались и понеслись лошади, волоча по площади фаэтон с обломками колес. Он понял, что это провал, и, стоя в пролетке, громко и страшно ругаясь и стреляя из маузера, вылетел на площадь. Через площадь наперерез озверевшим лошадям бежал Бачуа, не останавливаясь, прямо перед собой, в ноги лошадям бросил бомбу. Он успел увидеть, как взлетел и упал Бачуа, как хрипя, забив ногами, повалились лошади. Потом сквозь клубы дыма мелькнул Датико, и он помчал пролетку к фаэтону, продолжая стрелять и думая уже только о том, чтоб подхватить в пролетку Датико. А Датико вдруг возник из дыма перед самой пролеткой, слева от нее, и он увидел в руках Датико мешки — по мешку в каждой руке! — и мешки чудом точно упали в несущуюся пролетку, а Датико потом бежал за пролеткой и кричал, чтоб не останавливали, и нашел еще силы вспрыгнуть в нее на ходу.

Из желтого расползающегося по площади дыма выходили раненые казаки, пьяно, наугад шли по площади. Полицейские бежали к Дворцовой. Он тоже погнал пролетку по Дворцовой. Датико лежал на дне пролетки. По Дворцовой навстречу несся на лошади полицейский, и он сразу узнал полицмейстера Тифлиса подполковника Балабанского и, не в силах удержать охватившего его радостного безумия, во все горло заорал:

— Удача!! Деньги спасены! Спешите на площадь!..

Балабанский козырнул и помчался на площадь. С площади доносились выстрелы.

Деньги привезли к Бочоридзе. На площади остался только Бачуа. К вечеру Бачуа пришел к Бочоридзе: полицейские долго не решались вернуться на площадь, и Бачуа успел очнуться. Деньгами набили большой полосатый тюфяк, наняли мушу, поторговались, муша понес тюфяк по Михайловской улице, в обсерваторию, где был тайник. Рядом шла жена Бочоридзе, Маро.

Через несколько дней в коробке из-под шляп он вез деньги в Петербург. В поезде в разделе хроники газеты «Кавказ» прочел сообщение о том, что накануне подполковник Балабанский отправился на могилу своей матери и застрелился.

Почему застрелился Балабанский? Почему я не застрелился после гибели «Зоры»? Балабанский, может быть, неплохой человек, мать любил, но тоже не верил, что мир можно сделать лучше, вообще не думал об этом... Балабанский — опричник, жил, чтоб делать карьеру, карьера разрушилась — Балабанский застрелился. Я бы застрелился, если б поверил, что мир нельзя сделать лучше. Тогда надо жить для того, чтобы сделать лучше себе. Для чего? Чтобы жить лучше, чем живут другие? Для чего жить лучше других? Тот, кто хочет жить лучше других, не хочет, чтоб все жили хорошо. Революционер хочет, чтоб все жили хорошо. Это ему надо, чтоб самому хорошо жить. И ему не надо, чтоб за это платили. Почему пишут книги писатели? Потому, что им платят? Как Пушкин и Толстой не обижались, что им платят! Когда отец или мать учат жить, как за это платить? Человек должен работать не потому, что за это платят. Деньги унижают... Кто это сказал? Владимир Александрович? Нет, Горький, Владимир Александрович сказал, что это слова Горького. А актер, тот, что пел Луначарскому, возразил: меня лично унижает отсутствие денег. Владимир Александрович ответил, не глядя на

актера: зато вас не унижает выходить на поклоны!.. Актер подтвердил, что это его не унижает. И тогда Владимир Александрович обрушился на актера, все так же не глядя на него и обращаясь ко всем, и говорил долго и яростно о том, что труд должен быть свободным.

Чем кончился вечер? Ждали Горького. Горький пришел с Андреевой. Пили чай. Горький говорил о болезни Ленина. Владимир Александрович вспомнил, что в восемнадцатом году в Ленина стреляли отравленными пулями, а Горький сказал, что история взвалила на Ленина заботу не только об отсталой России, но и о судьбе мира, который осознает, что жить так, как жили до сих пор, больше нельзя, и Владимир Александрович снова стал говорить о спасении мира, но его перебила Андреева и рассказала индийскую сказку о мудреце, который пожертвовал жизнью ради спасения голубки. Соня сказала: прекрасная буддийская сказка! Не знаю, сказала Андреева, буддийская или какая, но это единственное, что спасает мир, и Владимир Александрович подтвердил, что спасет мир только бескорыстие, а практически сделать людей бескорыстными может только отмена частной собственности.

А он тогда впервые подумал, что тот, кто отдает жизнь ради спасения других, тот и есть революционер. И потом, когда все разошлись, он сказал об этом Соне, а она ответила, что важно не то, кем он был до сих пор, а кем он станет теперь.

На чем я остановился? Ничего толком не написал: «В виде эмблемы, характеризующей их службу, они носили собачью голову и метлу...» Кто этого не знает? И все-таки что-то я подумал об опричниках такое, чего не читал... Целый час смотрю в окно — мозги окаменели, еще и этот храм сверкает... Говорят, на куполе чистое золото. Несколько пудов. Снять бы золото и накормить людей. Было бы по-божески! А все-таки хорошо сияет.

И хорошо, что в любую погоду. Как будто говорит: что бы ни случилось, а я все равно сияю, смотрите на меня и верьте. Соня рассказывала, что на постройку собирали деньги по всей России. Опять не могу сосредоточиться!.. Я хотел закончить об опричниках.

Он встал из-за стола, раскрыл окно, вдохнул влажный, весенний, еще холодный воздух, долго, не выдыхая, мысленно разгонял его по всему телу, осторожно выдохнул, чувствовал, как по рукам и груди перекатываются мягкие теплые шары, закружилась голова, чуть не упал. Хорошо, что этот батумский охрапник научил дышать, подумал он, и имени его не знаю, дышать научил, а имя не сказал, чудак, научился сам у какого-то заключенного, не то перса, не то индуса, тот еще и называл это как-то странно... А, вот: набрать прану! Прану набрал, а умер от аппендицита: в тюремной больнице не было хирурга... А опричники сами потом стали как бояре, вспомнил он вдруг свою мысль. Сел за стол и записал: «Однако с течением времени сами опричники, пользуясь доверием царя и скопив в своих руках громадные богатства, стали не менее родовиты, чем бояре, мечтали о захвате власти...»

Позвонили в дверь. Оказалось, нянька из больницы — Соня остается на ночное дежурство, врач, который должен был дежурить, неожиданно умер от разрыва сердца, молодой был, прибавила няня, вот как ты. В комнате быстро темнело. За окном купол храма все еще удерживал на себе отсвет ушедшего солнца.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«Демон, как первенец творения, был выше всех ангелов и считал себя равным творцу. Он стремился к познанию добра и зла и не хотел подчиняться богу. И потому за свою гордость был изгнан из рая...» Соня еще что-то говорила о гордыне, о том, что вся русская литература учит

смирять гордыню, но он не стал это записывать, потому что решил, что не может литература учить тому, чего нет. И у людей и у животных жизнь — борьба, и кто не хочет бороться, тот не хочет жить, и никакое смирение ему не поможет. А то, что Демона выгнали из рая, доказывает только, что и хозяин рая не умел смирять гордыню. Ничего этого он Соне не сказал, и вчера, когда читали «Демона», не думал об этом, а подумал сейчас, когда стал писать. Все-таки это осталось тайной, подумал он, когда пишешь, все становится ясным. И Горького не спросил. Горького вообще давно не видел. Говорят, в Италию собирается, легкие ослабели. Горький написал «Песню о Буревестнике», Горький не зовет к смирению. И Пушкин не зовет к смирению. Смирение — перед кем? Перед злом — иначе зачем смиряться? А Пушкин презирал зло. «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста...» Какое это смирение? Горького весь мир читает. А мне в Германию надо. В Германии давно все готово для революции. Без мировой революции порядка все равно не будет. Если бы Демон, вместо того чтобы столько веков без пользы летать, устроил мировую революцию, он бы теперь в раю был — почище того, из которого его выгнали. А зачем Демону рай? Демону рай не нужен, он в раю вырос, привык ни о ком не думать. В раю всем хорошо — для чего о другом думать? Чтобы думать о другом, надо, чтоб другому плохо было. Кто может понять, что другому плохо? Тот, кому тоже было плохо. Выходит, чтобы помогать друг другу, всем должно быть плохо. А революция делается, чтобы всем было хорошо. Но тогда никто не станет думать о другом?.. Я опять запутался, подумал он, я с чего начал? Демон никого не любил, потому и носился один между небом и землей. А революция делается для того, чтобы все любили друг друга. Мать говорила: люби ближнего! Значит, можно любить ближнего и без революции? Сначала любовь — потом революция? А для чего револю-

ция, если уже есть любовь?.. Я совсем не умею думать, с отчаянием решил он, путаюсь в простых вещах. Надо думать о том, что знаю. Что было у меня? В детстве с матерью в церковь ходил, «Отче наш» наизусть знал, раздавал нищим медяки, плакал, мать говорила: душа у тебя рано проснулась, Сенько, бедный Сенько, душа не даст тебе спокойно жить! Мать говорила: пока душа спит, человек думает о себе, когда душа просыпается, человек думает о других. А что делать с теми, у кого душа спит? Как разбудить душу? Словами? Вначале уже было слово — и не помогло. Но начала еще не было. Начало будет, и вначале будет мировая революция. И на огне революции можно погреть руки... Это сказал Владимир Александрович вчера... Нет, вчера Соня читала «Демона», потом пришли Зоя и этот Леопольд из Тифлиса... А позавчера Владимир Александрович пришел рано, еще до Сони, просмотрел тетрадь, спросил, на чем остановились по литературе, и вдруг стал читать «Три пальмы» наизусть, от начала до конца. Потом посмотрел в окно, подумал и сказал: и на огне революции можно погреть руки, так-то, мой боевой друг! Он впервые разглядел в тот день глаза Владимира Александровича и подумал, что они ясные и беспомощные, как предрассветное небо. Такие же — у Кона, вспомнил он, у Кона еще и что-то застенчивое в глазах, как будто ему неловко, что он видит.

С Коном он познакомился у Либкнехта, а потом Кон стал его адвокатом. У Либкнехта он был один раз, незадолго до ареста. Арестовали девятого ноября седьмого года, сразу после Вены, а у Либкнехта — был в сентябре. Он тогда приехал в Берлин после Куоккалы, где жил в июле и августе, и, узнав, что он от Ленина, Либкнехт пригласил к себе нескольких друзей, и один из них, Оскар Кон, сказал — его удивила мягкая застенчивая интонация, с какой сказал это Оскар Кон, а потом он узнал, что Кон

вместе с Либкнехтом представляет в рейхстаге социал-демократическую партию,— Кон в тот вечер сказал:

— Истина в том, что все — едино. Мне кажется, все, что способствует единению,— правда, а все, что способствует разъединению,— неправда.

— Это твоя лучшая речь в защиту истины,— сказал Либкнехт.— Прекрасно!

— Это плагиат,— сказал Кон,— из твоей речи на Мангеймском съезде. Ты сказал лучше: кровь, которую проливают наши братья по ту сторону границы, они проливают за нас, за пролетариат всего мира. В этом месте тебе крикнули «браво».

— «Браво» крикнул ты,— сказал Либкнехт. От улыбки лицо Либкнехта покрывалось тонкими морщинками, они расходились от углов рта и глаз во все стороны — к щекам, вискам и по лбу.

Говорили о революции в России. Кто-то удивлялся: неужели для того, чтобы в России совершилась революция, недостает только оружия? В таком случае, интернациональный долг европейских рабочих — собрать деньги, купить оружие и послать его в Россию.

— Европейским рабочим, например немецким, не мешает пустить это оружие в ход самим,— сказал Либкнехт.

Кон возразил, все с той же застенчивостью.

— Немцам мешает любовь к порядку,— сказал Кон.— Я думаю, они бы совершили революцию, если б можно было при этом не нарушать порядка. Что касается Европы, то необходимую для революции энергию она выбалтывает в своих многопартийных парламентах.

Переводил с немецкого Житомирский. Житомирский сидел рядом, и его душный рот он ощущал у самой щеки. Житомирский встретил его на вокзале и повез на Эльзассерштрассе, где была снята квартира. На вокзале Житомирский смотрел исподлобья, и от этого взгляд его казал-

ся угрюмым. Потом странно, захлебываясь, рассмеялся и, продолжая смеяться, сказал:

— Знаете, как я назвал себя, представляя свою роль при вас в Берлине? Гувернантка! Не находите, в этом что-то есть, какая-то достоевщина: гувернантка Камо!..

Он молча смотрел в глаза Житомирского и видел, что они не смеются. И на следующее утро, когда Житомирский зашел за ним, чтоб свести с Богдасаряном (который тоже приехал для размена тифлисских пятисоток), и во все последующие дни, при каждой ежедневной встрече с Житомирским и без Житомирского, когда он уезжал один в Женеву, к Цхакая, для организации размена в Женевском банке, и когда уезжал в Софию за новыми взрывателями, и в Вену, где встретился с Литвиновым, чтобы перебросить оружие в Болгарию, а потом в Берлине и в других городах стали вдруг арестовывать всех, кто разменивал деньги, хотя номера тифлисских купюр были известны только в российских банках, и арестовали его самого, в Берлине, в то проклятое девятое ноября, и тут же произвели обыск в квартире на Эльзассерштрассе, где он жил, и нашли чемодан с двойным дном, полный динамита, взрывателей и револьверов системы «маузер» (все, что он добыл в Вене вместе с Литвиновым), а потом в Моабитскую тюрьму пришел на свидание к нему Красин, и охранник был подкуплен, и Красин рассказал, что бумажку с адресом на Эльзассерштрассе кто-то выронил во время разгона сходки полицией и что арестованы при размене денег Богдасарян, Семашко и еще несколько человек, и потом все четыре года, в Моабите, Бухе, Метехи, в Михайловской больнице, он помнил этот стиснутый, похожий на кашель смех, и несмеющиеся, навыкате глаза, и походку без ритма, сбивающуюся на каждом шагу, и уже только после побега из Михайловской больницы, в Баку, ранним утром, на квартире у Сегаля — Сегаль со сна принял его за Аршака Зурабова — а он сказал:

— Житомирский предатель. Поеду в Париж, найду его и убью.

С Житомирским он больше не встретился. В семнадцатом, в марте, выйдя из харьковской каторжной тюрьмы, узнал, что в архивах полиции найдены донесения Житомирского — начиная с 1902 года.

Как-то Соня весело сказала:

— Человека ничего не изменит, даже революция!

— Революция на то и революция, что все к черту меняет! — сказал Владимир Александрович.

Соня подошла к Владимиру Александровичу и вдруг поцеловала его в лоб:

— Вот вас никакая революция не изменила. Вы все тот же трогательный русский интеллигент конца прошлого века. И вы уже видите небо в алмазах. Но вы заблуждаетесь. И мне это обидно.

Владимир Александрович молча смотрел на Соню, словно хотел убедиться, что это сказала она. Потом говорил тихо, срывая от волнения голос:

— Вы правы, уважаемая, вы абсолютно правы, я вижу небо в алмазах... И вот ваш легендарный супруг видит. А вы не видите!.. Вы, внучка великого Стасова, потомственная русская интеллигентка, вы не видите небо в алмазах! Вы перестали смотреть вверх и опустили голову, чтоб, не дай бог, не споткнуться о какой-нибудь обломок этого несчастного мира. Вы забыли, что история наша — все еще история перехода от зверя к человеку. Посмотрите на наших несчастных сутулых длинноруких предков — сколько страданий в их полусогнутых туловищах, сколько им пришлось пережить противоречий и мук, чтобы преодолеть животную привычку к четвереинькам, и обрести ноги, и научиться ходить прямо и легко, как ходим мы. Когда-нибудь люди свободного разума

так же будут смотреть на изображения наших исчерканных страданиями лиц и будут жалеть нас и думать о том, сколько было противоречий и мук на путях освобождения разума. И я верю в это так же, как верил в это самый трогательный русский интеллигент конца прошлого века Антон Павлович Чехов, которого вы так кстати сейчас процитировали!

Моя мать тоже верила, Соня. Мать говорила: увидишь, Сенько, люди станут умными и поймут, как глупо жили до сих пор. Когда я в Гори смотрел на нищих и плакал, вероятно, тоже верил. И когда казаки вешали в Нахаловке, и в Берлине... В Берлине я один был против них всех. За Житомирским кто стоял? Эта продажная сволочь Гартинг. За Гартингом в Петербурге — Трусевич, за Трусевичем — Столыпин... Столыпин тоже знал, что я арестован, и в газетах писали, и царь знал — царь газету читает, или жена читала, или Столыпин доложил, чтоб показать, как хорошо служит,— и, выходит, я один — против них всех, перед всей Европой и Россией, и я — в тюрьме, а они — на свободе, и у них власть, и все равно я верил...

В Берлине еще и злость была, оттого, что в первый раз предали. Это ясно было, что предали: арестовали не на явке — на улице, значит, кто-то показал, и знали, где живу, и сразу чемодан нашли. И не в том дело, что вот до сих пор никто не мог обмануть, а какая-то сволочь, провокатор, сумел. Не в этом дело, Соня, не в гордыне, как ты говоришь, а в том, что провокатор — это что такое? Я в полицейских документах прочел: Житомирский в четырнадцатом году получал в полиции две тысячи франков в месяц!.. Вот в той книге, про хижину этого старого негра, людей открыто продают, а тут — скрыто, и деньги — скрыто, и не негры, а про каждого все знал — у кого что: у кого жена, у кого дети,— и за всех две тысячи!.. Не в отдельности за каждого, а сразу за всех, оптом,

сколько успеешь продать за месяц!.. Ты это понимаешь, Соня?! Житомирский в Берлин из Баку приехал, в Берлинском университете учился, встречался с Лениным и Плехановым, был на Лондонском съезде, в Заграничное бюро ЦК входил, окончил университет, врачом стал, у врача деньги есть, больше хотел — мог больше работать, почему предавал?.. Тоже дрался? За что? Ни за что! За себя!.. И выходит, он один, отдельно от всех, тоже против меня, хочет доказать, что он прав, а я — дурак, зря погубил свою жизнь!.. С того момента, как мне надели на руки эти маленькие красивые немецкие наручники, а потом повезли в тюрьму и как кролика посадили в клетку (у них там в камерах со стороны коридора вместо стены решетка, сидишь, как в клетке: кушаешь — видно, садишься на парашу — видно), с этого первого дня и все четыре года в тюрьмах и сумасшедших домах я думал о том, кто меня предал. В первую ночь хотел даже решетку сорвать, чуть не задушил охранника.

В ту первую ночь в Моабите было так: за решеткой по коридору ходил охранник, свет в коридоре тусклый, лиловый, сапоги у охранника кованые, пол — каменный, бух-бух, как будто по голове ходит, вдруг показалось, это не охранник, а тот, что его предал, и разжалась знакомая с детства пружина ярости, и он пытался выломать решетку, бил кулаками в стены, кричал, душил охранника, который прибежал на крик.

Утром пришел следователь. У следователя было круглое упругое лицо, торчащие усики и широко расставленные, почти у самых висков, большие крепкие глаза. Волосы с тонким ровным пробором отливали синевой. Сколько времени нужно, чтоб сделать такой пробор, подумал он, а может быть, ему делала пробор жена, у него молодая пухленькая жена, делает ему по утрам пробор и целует

в затылок. Следователь долго и терпеливо задавал по-немецки вопросы, на которые он не отвечал. Потом следователь спросил на ломаном русском, какой он нации. Что за дурацкий вопрос, подумал он, для чего им это? И опять не ответил. Следователь спросил, известно ли ему, что его ждет виселица. Следователь спросил это по-немецки и для ясности обвел рукой вокруг шеи, вскинул руку над головой и так, с поднятой рукой, ждал, что он ответит. Он рассмеялся. Следователь опустил руку и сказал, что в его жесте не было никакого гротеска — жест очень реалистический. Он опять рассмеялся — ему уже не было смешно, но смех выплескивал то, что накопилось в нем от молчания. А потом ему больше не захотелось молчать. Почему я молчу, подумал он, надо разговаривать — разговаривать легче, чем молчать, а мне надо доставлять себе хоть маленькие развлечения, иначе я умру с тоски. Следователь снова спросил: кто он по национальной принадлежности? Он серьезно, обстоятельно ответил:

— По рождению я армянин, но одновременно являюсь и русским, немцем, англичанином, негром, французом, поляком, болгарином — во мне, господин следователь, все нации мира.

Следователь слушал, не перебивая, потом еще помолчал и сказал, что он зря изображает сумасшедшего — в Моабите лучшие в Германии медицинские эксперты. А ему опять стало смешно: с момента ареста он впервые сказал то, что думал, и его приняли за сумасшедшего. Потом, после ухода следователя, он вспомнил его слова и удивился, как это ему не пришло в голову самому. Лучший способ, подумал он, а потом бежать из сумасшедшего дома... Но я никогда не видел сумасшедших. Я могу только повторить то, что сделал в первую ночь. И, не откладывая, в ту же ночь стал опять выламывать решетку, стучал в стены, рвал на себе одежду, бросился на охранника. Его скрутили, раздели и бросили в подвал. В под-

вале был лед. Девять суток голый прыгал на ледяном полу.

Потом пришел Красин. Красин советовался с Лениным: если дойдет до суда, докажут его участие в тифлисском ограблении, дело будет рассматриваться как уголовное и его передадут в Россию и казнят. Красин сказал: напади опять на надзирателя, посадят в карцер, выйдешь — напади снова, опять посадят — опять напади, и так до тех пор, пока не переведут в лечебницу, там увидишь, как ведут себя сумасшедшие — талант у тебя есть. Еще Красин сказал, что адвокатом его назначен друг Либкнехта Оскар Кон.

С этого дня все, что происходило с ним — и то, что надо было отвечать на вопросы следователя, и то, что пришел из Петербурга ответ на запрос берлинского полицей-президента фон Ягова о Мирском, под именем которого он жил в Берлине, и выяснилось, что настоящий Мирский, страховой агент и австрийский подданный, пребывает в Тифлисе, и выяснилось, что никакого Петрова, который в Вене поручил ему свой чемодан, не было, а был Валлах, чья настоящая фамилия Литвинов, и этот-то Литвинов и передал ему чемодан с оружием, и многое другое, что теперь узнавали о нем и от чего зависела теперь его жизнь,— все это больше не имело для него значения, а имело значение только то, сумеет ли он переплавить свою бессильную теперь ярость в спокойную, нетороплийую, бесстрастную игру, которая не должна прерываться ни на один день и ни на одну минуту предстоящей отныне жизни.

Суд назначили на 14 февраля. Это сказал Кон. Кон был у него 6 февраля. Кон вошел в камеру, а надзиратель стоял за решеткой, в коридоре. Он повернулся к надзирателю спиной и улыбнулся Кону. Кон напряженно смотрел ему в глаза. Он подмигнул. Не меняя выражения лица, Кон спросил, как он себя чувствует. Он крикнул:

— Болит!.. Вот здесь!.. Вот здесь!..

И бил кулаком себя по затылку. Надзиратель за решеткой улыбнулся, смотрел на Кона и вертел пальцем у виска. Кон попросил надзирателя отойти, чтобы не волновать больного. Надзиратель приложил руки к горлу и показал, что Кона могут задушить, но отошел.

Кон говорил спокойно, с паузами, раздельно произносил немецкие слова, иногда повторял. Он понял главное: меньшевики отказываются признать социал-демократами всех арестованных с тифлисскими пятисотками, чтоб их как уголовников выдали в Россию. Аксельрод открыто требует использовать суд для дискредитации и разгона большевиков. Либкнехт готовится выступить в рейхстаге — против сговора берлинской и русской полиции. Об этом уже была статья в «Форвертсе». Ленин поднял на ноги демократическую печать — и в Берлине и в Париже требуют освобождения всех русских революционеров. Накануне суда будет статья в «Берлинер Локаль-Анцайгер» с разоблачением готовящейся на суде провокации. И все-таки главное — лишить их возможности использовать суд.

Когда Кон ушел, принесли еду. Он схватил дымящуюся миску и с силой бросил в надзирателя. Тот поскользнулся, упал, от страха закричал, а он прыгнул на надзирателя, прижал коленями ему грудь, бил ладонями по лицу, тоскливо ждал, когда начнут выворачивать руки, потащат по холодному каменному полу в камеру для буйных.

Наутро в камеру пришел врач. Врач приходил уже несколько раз и каждый раз вежливо по-русски представлялся:

— Доктор Гоффман. Имею забота на ваши здоровие.

В камере буйных доктор не представился. Молча сел на вделанный в пол железный табурет и смотрел ему в глаза. Он стоял в углу камеры со связанными руками и

тоже не отрываясь смотрел на доктора. Глаза доктора говорили: посмотри на мою седину и не трать зря время, может быть, ты хочешь протянуть время? Что это даст? Из Моабита убежать нельзя, а в больницу я тебя не переведу, как бы грустно ты на меня ни смотрел. Я честно выполню свой долг!..

Ты честно выполнишь свой долг, герр доктор, и у тебя умные глаза, но у меня нет другого выхода, у меня отобрали даже ремень, чтоб я не мог повеситься. Через неделю суд. Ты прав — я совершенно здоров. Мое здоровье принадлежит не мне, и поэтому я ни разу в жизни не выпил вина и ни разу не закурил, а начиная с батумской тюрьмы, вот уже пятый год каждое утро делаю зарядку по системе Мюллера. Сейчас не делаю — сейчас я сошел с ума. И вы все — и ты, и другие, и следователь, и судья — вы все, умные, честные, выполняющие свой долг, вы честно признаете, что я сошел с ума, и переведете меня отсюда в больницу, а из больницы я убегу. Извини, ты потеряешь тогда свое место, но у меня нет другого выхода... Ни на один вопрос доктора Гоффмана он в тот день не ответил. Смотрел на доктора грустно, безнадежно и вздыхал.

На следующий день его вернули в камеру и развязали руки. Он разделся, в одной рубахе сел в углу камеры на пол, по-восточному сложил ноги и бессмысленно уставился в одну точку. Принесли поесть. Он поел и, когда надзиратель пришел за миской, попросил поблагодарить шеф-повара. Сразу после надзирателя пришел доктор — доктор Гоффман, имею забота на ваши здоровие! — и стал задавать вопросы. Он молча разглядывал лицо доктора: под нижней отвисающей губой на незаметной бородавке торчали два коротких волоса. На голове волосы седые, подумал он, а на бородавке черные, если бы на голове тоже были бородавки, и на голове были бы черные, а почему он эти два волоса не сбрил, утром явно брился, кожа

на лице гладкая, как у младенца, а поздри мягкие и большие, как у старой лошади, и, когда разговаривает, кончик носа движется, как у морской свинки, а в общем, видно, неплохой человек. О чем это он спрашивает?.. Опять о нации? Они тут на этом вопросе помешались! Кто может сказать, какой он нации? Если я скажу: армянин или немец, это что значит? Был народ, смешался с другим народом — получились немцы. Потом немцы смешаются с другими — получится еще кто-то, и так все время, все с самого начала смешаны, скоро это будет ясно всем — после мировой революции... А вот это уже хороший вопрос! Сколько дважды два? Ты стал относиться ко мне серьезно, герр доктор! И все-таки я опять буду молчать. Ты извини, я еще не знаю, что лучше: не понять, о чем ты спрашиваешь, или понять и ответить неправильно, или ответить правильно? А если я отвечу правильно, ты поверишь мне во всем остальном? Нет, нет, тут нельзя ошибиться!.. Я еще об этом подумаю, когда ты уйдешь, и, может быть, когда-нибудь я тебе отвечу, сколько будет дважды два, герр доктор, а пока, извини, не могу.

На следующий день, с утра, он отказался от пищи и потом весь день ждал приступа голода, но до самого вечера ничего не почувствовал и заснул крепко, как не спал со дня ареста. Утром надзиратель принес поесть и спросил, против чего он объявил голодовку? Он бессмысленно посмотрел на надзирателя и не ответил. К вечеру второго дня стало звенеть в ушах. Миски с пищей не убирали. Всю ночь до изнеможения он ходил по камере — чтоб заглушить голод усталостью. На третий день перед глазами поплыли круги. Такой пустяк, думал он, все в тюрьмах голодают, а мне так трудно. Я не знал, что для этого надо потратить столько сил. Мне надо еще сохранить силы на суд. Может быть, сейчас вообще голодать бессмысленно?.. В том-то и дело, что бессмысленно! Чем бессмысленнее, тем лучше. Голодать просто так, без тре-

бований может только сумасшедший. И еще это испытание покажет мне, сколько у меня сил.

На четвертый день принесли зонд. Он знал, что голодающих кормят через зонд. Очень простая вещь, думал он, глядя на приготовления надзирателей, даже санитаров не позвали. Разожмут сейчас зубы и всунут шланг в глотку. Если я сознательно голодаю, я должен сопротивляться, можно перекусить шланг, ударить надзирателя ногой — руки, конечно, свяжут... А если несознательно, если сумасшедший?.. Один из надзирателей неожиданно схватил его сзади за руки, другой с силой толкнул кверху подбородок, поднес ко рту зонд, приблизил белое, в испарине лицо — боится! — успел подумать он — и громко, испуганно закричал:

— Пью, пью, пью!.. Не надо!

Его отпустили, дали миску, он стал есть, затравленно озираясь, тупо, без интонации скороговоркой повторял:

— Где мой шеф-повар, что вы с ним сделали, меня хорошо кормил мой шеф-повар, зачем его убили?..

Когда пришел Гоффман, он стал ходить по камере и кричал:

— Наказание! Наказание!

— Вы боитесь наказания? — с участием по-немецки спросил Гоффман, и этот вопрос его опять обрадовал.

Он подошел к Гоффману вплотную, увидел близко его невозмутимые голубые глаза и понял, что вот сейчас, в этот миг Гоффман ему верит. Нельзя терять этой секунды, подумал он, и, уже не успев ничего решить, чувствуя только странную уверенность в себе и свободу, стал произносить откуда-то вдруг взявшиеся слова:

— Герр доктор, скажите Воронцову-Дашкову, пусть оставит меня в покое! Я буду кушать все, что он присылает, только пусть оставит меня в покое...

Накануне суда весь день он опять не ел, вечером надзиратель принес очередную миску с едой, он взял ее и

молча опрокинул на голову надзирателя. Потом по-деловому, озабоченно рвал на себе одежду, царапал в кровь грудь, плюнул за решетку в сбежавшихся охранников, лег на пол и долго бил кулаками об пол.

Ночью он решил не спать, чтобы наутро казаться больным: ходил по камере, прыгал, стоял на одной ноге, но, даже стоя на одной ноге, начинал дремать и тогда кусал себе руки, бил об пол пятками, прижимался затылком к холодной стене... Утром ему захотелось посмотреть на себя в зеркало. После ареста он видел только большую черную бороду, которая выросла в тюрьме, и мог ощупывать щетину остриженных на голове волос. Зеркала ему не дали. Еще он ждал, что, когда его повезут на суд, он увидит улицы, людей, дома и небо, и радость этого ожидания, которую он не скрывал, тоже приняли за признак сумасшествия.

Его никуда не повезли — судили в большом судебном зале Моабитской тюрьмы. Был длинный высокий стол, на нем лежали капсюли и взрыватели из его чемодана — он сразу их узнал — торчали за столом высокие спинки пустых кресел, потом в кресла сели люди в черных мантиях, а в зале мерцали сливающиеся белые лица.

Тот, что сидел в центре стола, посмотрел на него и что-то коротко, без интонации сказал по-немецки, он не понял и не поднял головы, которую положил на руки, а руки сложил на широком краю барьера, отделявшего его от зала. Перед барьером, спиной к нему, сидел Кон, тоже в черной мантии, и рядом с Коном молодая женщина в костюме, который плотно облегал ее ровную спину, и над темным воротником пышно сияли рыжие волосы. Женщина повернулась к нему и, улыбаясь, спросила по-русски, нет ли у него каких-либо возражений. Ответил за него Кон, и тогда судья стал задавать вопросы, а женщина уже не садилась и переводила то, что говорил судья. Он опять не поднял головы, но охранник, стоявший за ним,

обхватил его сзади руками и заставил встать. Он постоял, тупо глядя перед собой, вздохнул и снова сел, и охранник хотел снова его поднять, но Кон остановил охранника и обратился к суду с просьбой разрешить обвиняемому не вставать. Кон сказал это четко и спокойно, и он понял почти все слова: в связи с тяжелой болезнью, которая обнаружилась у моего подзащитного в следственной тюрьме, считаю судебное разбирательство вообще невозможным, и назвал параграф, по которому это невозможно. Еще Кон попросил суд, прежде чем начинать расследование, выслушать эксперта — медицинского советника доктора Гоффмана. Судья о чем-то спросил сидящих рядом судей, те зашептались...

Он видел всех в узкую щелку между руками, на которые опять положил голову, как только сел. Молодец Кон, подумал он, хочет избавить меня от допроса. Что это сказал судья? Говорит без интонации, как дьяк в горийской церкви. Сейчас эта женщина встанет и переведет. У нее красивые белые зубы, и она улыбается, даже когда говорит. Встала. Суд отклоняет просьбу защиты об экспертизе, но разрешает подсудимому не вставать... А у прокурора лицо не прокурорское — худое, глаза несчастные, может быть, болен чем-нибудь неизлечимым или из домашних кто-нибудь болен. О чем он сейчас думает? Сидит прямо, напрягает спину, так сидят те, у кого маленький рост... Интересно, когда встанет, какой у него рост?.. Встанет, когда будет требовать для меня десять лет каторги. За то, что нашли в чемодане эти взрыватели и все другое. А может быть, потребует просто передать в Россию. Чтоб там казнили. Сейчас начнется допрос. Кон свое сделал. Теперь все зависит от меня. Молодец Кон — сидеть, конечно, легче, можно иногда прятать лицо. Вот как сейчас. Но все время нельзя. Сейчас начнут спрашивать. А вон и Гоффман. Сразу не узнал. Надел новый костюм. В этом костюме моложе... О чем я

думаю? Надо думать, как отвечать. Нет, сейчас думать не надо. Все придет сразу после вопроса. Еще будет время, пока она переведет. Если очень напрягусь, пойму сам, до перевода. Какие будут вопросы? Фамилия, имя, откуда родом, национальность... Опять национальность! А рядом с Гоффманом тоже эксперты. Кон сказал: будут судебные эксперты. Сели напротив, чтобы видеть! Судья будет спрашивать, а они будут смотреть. Что они сейчас видят? Худой бородатый человек облокотился на барьер руками, положил на руки голову и как будто спит. Ясно, что не спит. А зачем так сидит? Болит голова, не понимает, что происходит, не понимает, где он?.. Или хочет обмануть? Хорошая мысль: смотреть на себя их глазами! Очень хорошая мысль. Она мне пригодится и дальше. Если суд отложат. Если не отложат — тоже пригодится. Надо оставаться сумасшедшим, даже если будет приговор. И на каторге. Пока не поверят.

Заговорил прокурор... Ему еще рано. Что-то говорит Кону. Кон сейчас ответит, и тогда станет ясно, о чем говорил прокурор. Кон не ответил, только кивнул. Ничего страшного. Прокурор опять говорит — теперь судье. Тот тоже кивнул. Это — хуже. Кон опять требует экспертизы. Судья отклоняет. Начинает допрос: имя, фамилия, возраст, откуда родом. На все это можно ответить, дальше вопросы будут труднее — тогда лучше молчать... Наоборот! Все надо делать наоборот: молчать, когда лучше отвечать, и отвечать, когда лучше молчать. Вон этот, рядом с Гоффманом, у него самый большой лоб. Может быть, потому, что лысый. Не больше сорока, а лысый. Губы тонкие, уголки — книзу, глаза сверкают. Как это называется?.. Пенсне. Сидит, как статуя. Может быть, заметил, что я смотрю из-под руки? Не может быть!

Он поднял голову, посмотрел на судью, приветливо кивнул. Переводчица, улыбаясь, повторила вопросы по-русски. Он наклонился к ней через барьер и почти шепо-

том, только ей, сказал, что не знает, как его зовут и кто его родители, но знает, что он из России, жил в Тифлисе и лет ему то ли двадцать шесть, то ли сорок шесть. Судья попросил говорить громче. Переводчица перевела просьбу судьи, и он с готовностью кивнул и хотел сказать громко, но вместо этого глухо захрипел. Краем глаза видел того, что сидел рядом с Гоффманом: сейчас он подумал, что я играю!.. Он снова попытался ответить судье громко, но получилось что-то невнятное и сиплое, и в зале кто-то рассмеялся. Он решительно откашлялся и все еще сипло, но уже яснее повторил то, что сказал переводчице. И увидел, как тот, в пенсне, не отрывая от него взгляда, что-то шепнул Гоффману. Это его успокоило. И от этой ли мгновенной уверенности в себе, или оттого, что он вдруг почувствовал необходимость нарушить ровный спокойный ритм, который позволял экспертам следить за ним, или просто не умея удержать себя от соблазна внезапной идеи, он вскочил с места и стал громко, лихорадочно путая грузинские и армянские слова, ругать того, кто его предал. Переводчица внимательно вслушивалась, пытаясь понять... Неожиданно он застонал, схватился за голову и, продолжая стонать, опустился на стул. Эксперт рядом с Гоффманом и сам Гоффман наклонились вперед, казалось, хотят лучше расслышать его стон — это он увидел сквозь пальцы, которыми опять обхватил лицо. Он почувствовал усталость, закрыл глаза и замолк. Стало тихо. Что-то негромко сказал прокурор — он узнал его голос, но опять не понял слов. Громко и резко прозвучал голос Кона. Прокурор выкрикнул: тише, вы его разбудите! Прокурор произнес это с торжествующей иронией, и на этот раз он понял, что сказал прокурор. Надо что-то сейчас сказать, или сделать, или хотя бы открыть лицо, подумал он и опять представил себя их глазами. Ему стало жаль себя, и он тяжело вздохнул. И оттого, что тут же почувствовал естественность этого, вздохнул еще

раз и озабоченно, ожидающе смотрел на экспертов. У них в глазах жалость, подумал он, они сейчас поверили, надо смотреть их глазами и выражать то, что вызывает у них мой вид,— это тоже хорошая мысль: реагировать на самого себя,— если это будет то, что они чувствуют, глядя на меня, они мне поверят.

Судья снова стал задавать вопросы. Он понял вопрос уже по-немецки и, прежде чем переводчица повторила, думал, как ответить. Судья спросил, в какой он состоит партии. Судья спросил по-деловому, как спрашивают здорового человека: в какой вы состоите партии? Надо ответить. Переводчица улыбнулась и повторила вопрос. Он встал, выпрямился, с ребячьей гордостью задрал голову, громко сказал:

— Я социал-демократ!

Посмотрел на прокурора, на экспертов, оглянулся на зал и, довольный собою, сел. Судья спросил, нет ли в русской социал-демократии разных течений. Он не понял вопроса и, мучаясь, ждал, когда переведут. Потом небрежно, удивляясь, что кому-то это неизвестно, ответил, что в России имеется только одна социал-демократия. Судья спросил, может быть, имеется левое и правое крыло, крайнее, менее крайнее и другие течения? Он опять не понял вопроса, но и после того как перевели, ответил не сразу. Чего добивается судья, подумал он, чтоб я сказал о большевиках? Для чего? Просто выясняет, болен я или здоров? Помогает экспертам? А если меньшевикам?.. Если тут что-то, чего я не понял... Я не знаю, что ответить. Тут сам черт не ответит!

Наступила пауза. Эксперты неподвижно ждали. Он почувствовал ненависть к ним. Неожиданно со злостью сказал:

— Я этого не знаю! Пусть черт это знает!

Лысый, рядом с Гоффманом, снял пенсне, протер маленьким белоснежным платком и снова надел. Судья

спросил: есть ли разница между немецкими и русскими социал-демократами? Он понял вопрос на немецком и, не дождавшись перевода, обращаясь к Гоффману, истошно закричал:

— Я не могу больше говорить! Оставьте меня в покое! Герр доктор, пусть меня оставят в покое!

Гоффман не сдвинулся с места. Зато вскочил с места Кон и снова стал требовать экспертизы. Ему ответил прокурор, потом говорил судья, потом снова Кон, но он уже не понимал даже того, что говорил Кон.

Объявили перерыв. Его повели в отдельную комнату. По дороге, в коридоре, какая-то женщина всунула ему в руку коробку папирос. Он успел тут же, в коридоре, открыть коробку и, радуясь, подбросил ее в воздух... В отдельной комнате ему дали поесть. Он опрокинул миску с кашей на стол и весь перерыв сосредоточенно размазывал кашу пальцем по столу.

После перерыва судья спросил его, где находится Кавказ — на севере России или на юге, кто такой Пушкин, сколько дней пути из Тифлиса в Петербург, отчего у него поврежден глаз, какой вкус у рябины, какие женщины ему нравятся больше, грузинки или русские, и еще что-то в этом роде, и на все это он отвечал спокойно и очень серьезно, дожидаясь перевода и потом еще задумываясь: Кавказ находится на юге России, это знает каждый школьник, неужели господин судья не учился в школе; Пушкин — тот, кто стреляет из пушки; из Тифлиса в Петербург поездом шесть или семь дней, но лучше не ехать — в Петербурге сажают в Петропавловскую крепость, а в Тифлисе — в Метехи, из Метехи легче убежать; глаз у него не поврежден, а у него просто нет глаза, он его съел в тюрьме, потому что убили его шеф-повара и ему нечего было есть; рябина — ничего, вкусная, немного горькая, зато красная, арбуз тоже красный, но арбуз сладкий; больше всего ему нравится вот эта женщина,

которая переводит, потому что она все время улыбается, а русские и грузинки не улыбаются, и кроме того, она знает немецкий, а русские и грузинки не знают немецкого...

Потом он перестал отвечать на вопросы, сидел, повесив между коленями руки и опустив плечи, и думал о том, что Гоффман и тот, лысый, может быть, действительно лучшие в Германии эксперты, и поэтому все, что он говорит и делает, напрасно, и они в душе, вероятно, сейчас смеются над ним... Что это опять говорит Кон? Требует опять немедленной медицинской экспертизы... Судья обратился к прокурору. Прокурор ответил одним словом, и он понял, что ответил прокурор. Прокурор сказал: согласен!..

Все еще могло измениться, Гоффман и другие эксперты еще не дали заключения, и прокурор еще мог потребовать свои десять лет каторги, но это было первое признание его болезни, и теперь суд займется не тем, что нашли в его чемодане, и не тем, что узнали о нем через Гартинга и Трусевича, а тем, что он болен, что он, возможно, болен, эту возможность станут сейчас обсуждать и занесут в протокол, и завтра, нет, сегодня, об этом напишут во всех вечерних газетах, и все от того, как он сейчас отвечал на вопросы судьи, и от того, как вел себя все эти два месяца в тюрьме, и от того, что, видно, научился все-таки разжимать внезапную пружину чувств медленно и рассчитанно, подчиняя ее мгновенным решениям.

Слово дали Гоффману (Гоффмана не переводили, но он уже привык к его немецкой речи в тюрьме и почти все понял). Гоффман подробно рассказал обо всем, что происходило в тюрьме за два с половиной месяца, и сказал, что налицо столько несогласованностей, что сегодня ни к какому определенному мнению прийти нельзя и он только может сказать, что у него сомнения по поводу участия обвиняемого в слушании дела.

После Гоффмана долго, озабоченно говорил прокурор, и впервые встал со своего места — и прокурор оказался, как он и предполагал, маленького роста. После прокурора выступил Кон, требовал отложить суд, пока экспертиза не даст заключения. Прокурор перебил Кона и сказал одно слово, и он узнал это слово прежде, чем понял: согласен. Судьи пошептались, тот, что сидел в центре, без интонации, скороговоркой что-то сказал, переводчица обернулась к барьеру и улыбнулась: суд постановил отложить процесс на неопределенный срок и подвергнуть психическое состояние обвиняемого врачебной экспертизе.

Донеслись долгие удары колокола. Как странно, что в Моабите слышен колокол храма Спасителя... Я начинаю сходить с ума, подумал он, нет никакого Моабита, есть Москва, двадцать первый год, комната на Воздвиженке, я женат, моя жена Соня — врач, она сейчас в больнице, а этот, с бородой, на стене,— ее дед Стасов, и все эти, на фотографиях,— тоже умные и образованные люди, и вот эти часы Репин подарил Стасову... Как я попал сюда? Если б не революция, я бы не попал сюда... Нет, не так, если б не Берлин — не Моабит, не Герцберг, не Бух, не это четырехлетнее сумасшествие на виду у всей Европы, если б не Житомирский... Смешно, подумал он, если б Житомирский не донес, я бы не женился на Соне. Я мог бы, конечно, ее встретить, но она ничего бы обо мне не знала, а так она уже знала все, прежде чем мы встретились.

После того разговора о «Демоне», когда Соня сказала, что Владимир Александрович заблуждается насчет неба в алмазах, Владимир Александрович несколько дней не приходил, и как-то вечером Соня предложила пойти на его лекцию в Политехнический. Они опоздали. Владимир

Александрович уже отвечал на вопросы. Соня послала записку: почему вы к нам не приходите, ждете, когда небо будет в алмазах? Владимир Александрович прочел записку и сказал: тут одна знакомая, с которой мы как-то не доспорили, предлагает продолжить разговор. Речь идет об известной цитате из Чехова — будет или не будет небо в алмазах? Если позволите, я продолжу этот разговор здесь. И стал говорить о том, как все в природе умеет прежде всего приспосабливаться — и растения, и птицы, и животные, и даже бабочка, а без этого жизнь на земле давно бы исчезла, но жизнь сохраняется и меняются только ее формы, и даже возникают совершенно новые виды, и все оттого, что их создают условия жизни, причем, обратите внимание, голубушка Софья Васильевна (Владимир Александрович словно забыл, где он, и обращался только к Соне), обратите внимание, условия, диктующие приспособление, поначалу всегда враждебны, а иначе никакого приспособления и не надо было бы, так же и с частной собственностью: отмена ее враждебна психике, которая складывалась тысячи лет, и в результате ее изменения теперь возникнет новый вид человека, и скажите на милость, уважаемая, почему это приспособление к частной собственности, продиктованное инстинктом, возможно настолько, что человек превратился в раба, а приспособление к отсутствию ее, диктуемое разумом, невозможно настолько, что приводит вас к совершенно ненаучному — простите великодушно! — утверждению о неизменности человека, а если даже он может, как вы изволили выразиться, изменить себя сам, то позвольте спросить, отчего у него появляется такое странное желание? — нет, нет, уважаемая, не утруждайте себя, ответ один, и я отвечу за вас: желание это появится из его опыта, то бишь все из тех же условий жизни, а что есть частная собственность, милостивая государыня, как не отсутствие сознания всеобщего единства, пришло время, и такое сознание возни-

кает, да, да, возникает! — от первого колеса, великих завоеваний, открытий Америк, паровых машин, электричества, от этого великолепного единоборства человека с пространством и временем, из века в век и особенно в наш благословенный двадцатый — не улыбайтесь, именно благословенный, ибо он выбран историей как веха тысячелетий! — постепенно накапливалось сознание единства: народы открывали друг друга, взаимопроникали, каждый узнавал в другом себя, и все яснее становилась невозможность жизни, отдельной друг от друга,— прошу подчеркнуть: невозможность! — дело не в благих намерениях, их достаточно было во все времена, а дело в том, что мы первые начали тот процесс приспособления к новым условиям, вне которых отныне уже человек не может жить, и нэп не приведет к капитализму, нет и тысячу раз нет, всему свое время, время капитализма прошло, для этого другие нужны условия и другая психика, и сколько бы ни орали меньшевики о грядущем за нэпом русском капитализме, он не грядет, и не случайно именно в России прорвалась тысячелетняя цепь — не только там, где тонко, но дело еще и в том, как я это имел честь неоднократно сообщать, Россия невидимо для мира вобрала в себя опыт всего, что до сих пор пройдено человечеством, и вышла на арену истории как носитель идеи единства, и потому не было до сих пор в мире такой нравственной литературы, как русская, и не было до сих пор революции, которая бы отменила частную собственность, повторяю, мир шел к этому, он не может больше жить так, как жил до сих пор, он сам создал для этого условия, и теперь сам же должен приспособиться к ним с кровью и муками — о да, конечно, с кровью и муками! — но выхода нет, и это будет, будет, уважаемая, как бы вам ни казалось, что человек не меняется, и не потому ли вам — и не вам одной! — это кажется, что виден человек нам всего лишь на протяжении каких-нибудь тридцати тысяч лет, но даже строя до-

гадки о том, что было миллион лет назад, мы уже говорим не о рабстве, а о первобытном коммунизме, и знаете, из чего мы исходим, голубушка моя? Все из тех же условий жизни — они, их величества условия жизни,— заметьте, я все время подчеркиваю: они только результат неутомимого развития мира! — они требуют сейчас принципиально нового образа жизни, а кто не приспособится к этим условиям, или, как вы изволили выразиться, не изменит себя, тот погибнет, и это тоже закон природы и закон истории, а в природе и в истории все совершается через насилие, и если бы не насилие, не было бы и борьбы, а без борьбы, как известно, нет жизни...

Владимир Александрович говорил без пауз, не давая возразить, и Соня потом сказала, что вот так, на одном выдохе, он читает все свои публичные лекции, и странно, что на лекции его все-таки трудно попасть — все дело, вероятно, в его ненормальной, патологической искренности.

И все-таки без борьбы нет жизни, Соня, это правда. Я почему сейчас жив? Если б не выдержал, вышло бы, что они сильнее. А я знал, что революция сильнее. И революция тогда через меня только могла показать, что она сильнее.

После суда из камеры с решеткой во всю стену его перевели в камеру с решетчатым окном, красными кирпичными стенами и железной дверью. В двери, как в российских тюрьмах, было окошечко. Через решетку они видели меня лучше, думал он, для чего они меня перевели?.. Чтоб легче застать врасплох, когда я буду уверен, что никто меня не видит? Надо себя чувствовать так, как будто ничего не изменилось и я в той же камере, где они меня видели все время. Это оказалось труднее, чем он думал. Каждый раз, когда окошечко в двери закрывалось,

он, уже привыкнув смотреть на себя со стороны, видел, как расслабляется его лицо, становится спокойным — без морщин на лбу, без выражения страха и ожидания, без мученически виноватой улыбки, чуть кривившей рот, и даже видел, как на щеках появляется румянец; этого не может быть, думал он, в тюрьме у всех лица белые, я давно не видел своего лица, если бы я хоть раз мог посмотреть на себя в зеркало, мне легче было бы представлять его.

Экспертами были Гоффман и лысый, в пенсне, что сидел рядом с Гоффманом на суде. Гоффман вежливо представил его в первый же день после суда, когда они вдвоем пришли к нему в камеру: медицинский советник, доктор Липпман. Они и потом приходили всегда вместе, без переводчика, говорили больше друг с другом, ощупывали ему живот, грудь, спину, щекотали пятки и под мышками, стучали молоточком по коленям, заглядывали в глаза... Легче всего было подавить смех от щекотки. Когда впервые провели чем-то холодным по спине, он вздрогнул всем телом и, уже ненавидя себя за эту слабость, улыбался, чувствуя на спине уколы булавки. Ничего нельзя было сделать с ударом по колену: если ногу расслабить, как они этого требовали, от удара молоточком она дергалась, и он понимал, что это признак здоровья, когда же он напрягал ногу, чтоб удержать ее, они замечали это и снова требовали расслабить. Надо сделать так, чтоб нога удержалась сама, без моих усилий, сказал он себе в первый же день, и так сосредоточился на этой мысли, что представил, как от удара по колену в ноге сжимаются и разжимаются красноватые, упругие, туго сплетенные мышцы — он видел такие в детстве, когда отец снимал шкуру с баранов. Он был так напряжен желанием удержать ногу, что не сразу заметил, как она после очередного удара осталась неподвижной. Потом он думал, как это ему удалось, но так ничего и не понял и только решил за-



помнить то, как представил ногу и как напрягался всем существом до того, что ему стало казаться, что он сам превращается в свою ногу.

Иногда по ночам он снова рвал на себе одежду, царапал лицо, стонал, видел себя в узкую щелку приоткрытого в двери окошечка, поворачивал к нему свое бессмысленное, отчаянное лицо. С врачами был приветлив, тих, вдруг начинал долго, лихорадочно говорить, смешивая грузинские, армянские и русские слова, потом только молчал, вздыхал, смотрел в одну точку, кожей чувствовал растерянность, исходящую от врачей. От пищи отказывался. При виде зонда начинал испуганно есть и снова тупо отказывался.

Экспертиза длилась больше трех месяцев. В решетчатом окне проплывали облака, гудел дождь, просовывались сквозь прутья толстые, наполненные пылью солнечные лучи. Несколько раз приходил Кон. Однажды — с Либкнехтом. На лице Либкнехта, когда он вошел в камеру, был ужас. Либкнехт поверил в мою болезнь, зная, что я здоров, подумал он, и представил свое измученное исцарапанное, почерневшее лицо, потом стал спиной к двери и подмигнул Либкнехту — от углов рта и глаз Либкнехта рассыпались тонкие изумленные морщинки. Либкнехт рассказал, что Литвинова признали социал-демократом и освободили, выслав в Англию.

В конце мая Кон пришел еще раз и застенчиво сообщил, что Гоффман и Липпман написали официальное заключение о результатах своей экспертизы. О чем заключение, Кон не знал.

Четвертого июня ему объявили, что он переводится в психиатрическую больницу в Герцберге. Выйдя из камеры, он попросил зеркало, увидел худое лицо с черными впадинами щек, черной бородой, запавшими глазами и искривленным измученным ртом, плюнул в зеркало и отвернулся.

В Герцберг привезли утром. Коренастый квадратный человек с рыжей шевелюрой и прозрачными голубоватыми глазами встретил у дверей, представился: служитель Фогт! И, стиснув ему плечо крепкими толстыми пальцами, долго вел по лестницам и пустынным коридорам с высокими сводчатыми потолками. Он сначала считал ступеньки, повороты коридоров, двери, но потом заметил, что лестницы и коридоры повторяются, и решил, что его нарочно ведут так долго вверх и вниз, чтоб он не мог сам найти выхода. Неожиданно Фогт ввел его в светлую комнату с большим, во всю стену, сводчатым окном. На широком подоконнике сидел голый по пояс человек в кальсонах с маленьким серым лицом и смотрел на вошедших пронзительным взглядом. За его спиной в окне чуть колыхались верхушки кипарисов. В комнате на кроватях спали люди. Служитель Фогт показал на свободную кровать у двери, в углу комнаты, и ушел.

Он подошел к окну и посмотрел вниз. Окно было на третьем этаже. Под окном был двор. Вдоль ровных, ослепительно белых дорожек стояли черные кипарисы. Двор ограждала кирпичная стена. За стеной виднелись высокие пышные крыши города. Его охватила радость. Он сел на подоконник, рядом с человеком в кальсонах, и громко по-армянски запел песню тифлисских кинто — что-то про ишака (каждый шаг ишака — дороже тебя, красавица), а человек в кальсонах вдруг рассмеялся, дернул его за бороду и что-то спросил одним словом (он потом понял, что слово армянское: «откуда ты?») и, не дожидаясь ответа, снова рассмеялся и сказал, что он тоже армянин, из Константинополя, и еще что-то, торопливо, не останавливаясь,— как приехал в Берлин, работал грузчиком, женился на немке, а она объявила его сумасшедшим за то, что он бил себя камнем по голове.

— А я ничего не чувствую! — говорил он радостно.— Вот, вот, вот, вот!..— И щипал себя, глубоко захватывая

всеми пальцами щеки, живот, бедра. Потом опустил кальсоны и показал шрам на ягодице.— Прижигали раскаленным железом, не чувствовал, ничего не чувствовал! — И гордо улыбался.

Рассказывая, он заглядывал в глаза, вдруг замолчал и сказал:

— Один глаз у тебя плохо видит, брат! Почему?

Он подумал и спросил:

— Ты Гиршфельд?

— Я Ваграм,— сказал человек в кальсонах.

— А я ищу Гиршфельда. Гиршфельд — профессор. Я приехал в Берлин, чтоб вылечить у Гиршфельда больной глаз, а меня привезли сюда. Сумасшедшие!..

Снова пришел Фогт, принес больничную одежду и повел мыться. Он попросился в клозет. В клозете было окно. Узкий деревянный подоконник был на уровне головы. На окне нет решетки, подумал он, не за что схватиться... В ванне тоже было окно, но оно было меньше и выше — под самым потолком. Фогт вошел в ванную вместе с ним и помогал мыться. Он думал о Ваграме: если Ваграм провокатор, он здесь недавно, специально для меня — больница не тюремная. Надо узнать, давно ли Ваграм в больнице. Он заговорил с Фогтом, с трудом подбирая немецкие слова. Фогт обрадовался — не ожидал, что он знает немецкий. Фогт сказал, что Ваграм в больнице второй год, у него истерия с полной потерей чувствительности. В больнице его называют Муций Сцевола, но это неверно, потому что Муций Сцевола, когда сжег свою руку, чувствовал боль и не показал этого, потому и стал знаменитым, а Ваграм, когда его прижигали раскаленной проволокой, ничего не чувствовал. Во время приступа Ваграм пытается разбить себе голову. При этом смотрит в зеркало и говорит, что хочет увидеть собственные мозги... Фогту тоже нельзя верить — если Ваграм провокатор, Фогт с ним заодно. Надо ждать. Надо убедиться, что Ваг-

рам не провокатор. Главное пока — не побег, главное — отменить суд.

После ванны он весь день лежал на своей кровати в углу комнаты, никого не замечал, распевал тифлисские песни. На следующий день стал молчалив, от всех шарахался, убегал, лежал с закрытыми глазами, чувствовал смертельную усталость. Самое трудное было, конечно, заставить их поверить в первый раз, думал он, дальше они будут только проверять то, во что поверили. И все-таки, что будет дальше? Надо, чтоб не застали врасплох, например в момент пробуждения или во сне, если я вдруг заговорю во сне. Я никогда во сне не говорил, но все может быть. Может быть, есть такое лекарство, от которого во сне начинают говорить. Ни одно лекарство нельзя принимать — это ясно. Но это может быть и без лекарств... Если экспертиза протянется еще несколько месяцев, я действительно сойду с ума. Тем лучше — тогда суд наверняка отменят.

В восьмом павильоне, куда его поместили, содержались тихие. Врачи заходили редко. Приходил Кон. Суд назначил Кона единственным опекуном Мирского. Он удивился, что его все еще называют Мирским. Кон объяснил: агентурные сведения не являются юридическим основанием. Петербург до сих пор молчал о его настоящем имени, чтоб не подвергать сомнению уголовный мотив преступления. Теперь, когда он не в тюрьме, а в больнице, в Петербурге испугались и сообщили его настоящее имя, чтобы усилить охрану, но это все равно ничего не доказывает, пока не будет документов и показаний свидетелей. Могут только перевести из Герцберга в Бух, где имеется девятый павильон со специальной охраной.

Кон рассказал о заключении Гоффмана и Липпмана, он помнил заключение слово в слово: называющий себя Дмитрием Мирским представляет в настоящее время душевнобольного человека и останется таковым в будущем,

насколько это можно представить. Неизлечимой его болезнь назвать нельзя. Гоффман и Липпман отнесли болезнь к форме истерии, вызванной пребыванием в тюрьме и наследственным предрасположением.

Еще Кон в первый же свой приход предупредил, что в больнице ежедневно заполняются «скорбные листы» — о поведении больных. После этого каждый вечер мысленно он сам заполнял на себя «скорбные листы» — это помогало ему видеть себя со стороны. Весь день, ежеминутно напрягаясь, он искал и находил поступки, которые подтверждали его болезнь; по неуловимым признакам — по тому, как с ним говорили, по вопросам, паузам, выражению лиц — он угадывал, когда ему верят, когда можно быть неожиданным и буйным, царапать в кровь лицо, преследовать по коридору врачей и когда — молчать, лежать неподвижно на кровати, плакать, смеяться, напевать тихие песни, сосредоточенно раскладывать на постели узоры из вырванных усов... Потом эти мысленные «скорбные листы» он помнил всю жизнь.

Вся жизнь после Герцберга!.. Герцберг — в восьмом году, сейчас — двадцать первый. Тринадцать лет... Кажется, прожил одну жизнь и, не умерев, начал вторую. Только второй жизни мешает память. Лучше было умереть — чтоб и память умерла, а потом снова родиться. И голова была бы свежей, запоминал бы все формулы по алгебре. Вообще, если уж родиться снова, лучше с другой головой, без этого бельма на глазу. Но главное — память. Как будто одна жизнь налезает на другую. Все путается... Герцберг был — больше его нет. И Буха нет, и Метехи, и всей той жизни... Как глупо устроена память, подумал он, для чего остается то, что уже не нужно? А может быть, память умнее меня, то, что было раньше, продолжается, и это — все та же одна-единственная моя жизнь? Все, что

было до сих пор, было со мной, а я остался, и память моя осталась, как будто у меня длинное тело, и, пока я живу, оно удлиняется. Я ни разу об этом не думал. Очень просто: жизнь — одно длинное и удлиняющееся с каждым днем мое тело, и его удлиняет моя память. Память не дает ему оборваться, и, пока я живу, ничего не может закончиться. Без памяти я бы не знал, что живу одной целой жизнью, и даже не знал бы, что вот минуту или две назад думал совсем иначе. Без памяти вообще не о чем было бы думать и ничего нельзя было бы понять, и жизнь стала бы как топтанье на месте, и тогда никакого значения не имеет время. А без того, что происходило до сих пор, не было бы того, что есть сейчас и что будет дальше. Неужели Соня не может этого понять?.. Что же все-таки произошло? В тот день, когда сказала насчет неба в алмазах, а Владимир Александрович в ответ произнес этот свой монолог и потом сам же смутился, заторопился, после его ухода долго молча ужинали, потом он сказал, как бы разговаривая с собой:

— Вероятно, все-таки, человека можно изменить. И Ленин так говорит, и Горький, и Красин, и Луначарский... Столько умных людей! Может быть, и ты, Соня?

Она перебила:

— Я тоже говорю, что можно.

Он обрадовался:

— О чем же ты все время с ним споришь?

И тогда она это сказала:

— Я спорю не с ним, Семен, я спорю с тобой. Я все время спорю с тобой, я все время думаю о том, что теперь будет с тобой? Человека можно изменить, но сделать это может только он сам. И я хочу, чтобы ты это сделал. На что ушла твоя жизнь? Что ты делал до сих пор?.. Из своих тридцати девяти лет сколько лет ты провел в тюрьмах и сумасшедших домах? Я подсчитала: почти год в батумской тюрьме, после Эриванской площади — с седьмого до

одиннадцатого — в Моабите, Бухе, Метехи и Михайловской больнице, с тринадцатого еще четыре года — в Метехи и харьковской каторжной, итого — девять лет. Это не считая мелких арестов. Сознательная твоя жизнь началась после переезда в Тифлис, с тысяча девятьсот первого года, значит, двадцать лет. Из них половина — в тюрьмах, остальные годы — скрывался, делал бомбы, бросал бомбы, закупал оружие. И все это — чтобы вооружить Россию и сделать революцию. А оружие, ради которого ты столько сделал, не понадобилось — война вооружила лучше, чем ты мог бы это сделать за сто лет. Когда мы поженились, ты говорил: не имею права жениться, не настало время думать о себе. А может быть, настало? Ты можешь многого добиться, если приложишь к себе энергию, с какой действуешь ради других. Ты можешь стать врачом, инженером, актером... Ты должен жить так, чтобы остаться верным себе, несмотря на то, что будет происходить вокруг. Это трудно, но это единственный способ продолжать жить.

Ты говоришь, революция победила без меня?.. Ты плохо это сказала, Соня, но я понимаю — ты сказала так, чтобы отделить меня от моей прежней жизни. Ты образованнее меня, но ты не знаешь, что такое революция. Мать говорила мне: душа твоя рано проснулась, Сенько, тебе будет трудно. Она не знала, что будет революция. Революция — моя жизнь, Соня, моя вера, моя совесть.

Он встал из-за стола, прошелся по комнате. В окне был нежный весенний свет, все тонуло в дымке, и даже купол храма не блестел. Все это — то, что я думаю о ней,— я должен ей сказать. Я не говорю, потому что боюсь того, что после этого будет. Пока мы не говорим, все может оставаться так, как есть. Но я думаю об этом, и я знаю, что и она думает... Почему мы молчим? Боимся

слов? Сказать — все равно что сделать. Даже больше, чем сделать,— через слово выходит какая-то энергия, и ее уже нельзя вернуть. Соня права: если думаешь о человеке, надо сказать ему... И больше не надо об этом! Почему я стал думать об этом? Я думал о «Демоне», потом — о «Трех пальмах»... Что я записал о «Трех пальмах»? Владимир Александрович ушел позавчера рано, не дождавшись Сони, и я написал сразу после его ухода.

Он нашел в тетради запись о «Трех пальмах»: «Как только на землю спустился сумрак, путники, боясь ночной стужи, стали рубить принявшие их так гостеприимно пальмы. До самого утра они жгли эти несчастные пальмы на медленном огне костра... После ухода каравана остался опустошенный и осиротелый оазис, а от гордых вчера пальм остался лишь седой пепел очага и угли, которые разносились по степи ветром...» Я еще о чем-то тогда думал. Что-то о деревьях... И о людях. Там где-то пальмы жалуются, как люди... Он нашел то место в стихотворении, где пальмы ропщут на бога: «И стали три пальмы на бога роптать: „На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?"». Пальмы думали о людях, а люди не думали о людях — тех, что придут после них,— и сожгли пальмы. У пальм души не спали, а у людей, что их сожгли, спали. Деревья вообще живут лучше людей, подумал он, они все отдают — и плоды, и ствол, и даже тень. Может быть, люди, у которых душа проснулась, тоже станут деревьями? Может быть, для того мы и рождаемся, чтоб разбудить душу и стать деревом? Тогда все революционеры станут деревьями. О, это будет большой парк, и деревья в нем будут стройные и тенистые, и на них будут плоды — фрукты, или орехи, или какие-нибудь бананы. А пока революционеры, как пальмы, думал он, дают себя сжечь, а остальные люди, как демоны, думают о себе, и души их спят... После записи о «Трех пальмах» оставалось свободное место (о «Демоне» он стал писать с новой страницы), и он

дописал так: «В человечестве всегда как-то инстинктивно живет стремление к уничтожению всего прекрасного и полезного. Люди благодаря своей близорукости не могут думать об общей пользе». И опять вспомнил о Ваграме...

Как-то Ваграм рассказал о себе. К тому времени он уже знал о Ваграме все, что мог узнать сам: как он ходит, выбрасывая ноги и словно отряхивая приставшую к подошвам грязь, как, не мигая, сосредоточенно заглядывает в глаза, а потом вдруг безразлично зевает и блаженно, всем телом, потягивается, как всегда напряжены и слегка разведены в стороны его руки, и даже когда ходит, руки неподвижны и опять чуть разведены, как у куклы, как будто на них грязь и он боится запачкать одежду. Кон узнал, что Ваграм действительно находится в Герцберге два года и останется навсегда — во всяком случае, пока жена оплачивает его пребывание,— медицина не знает случая излечения после потрясения подобного рода, к тому же полученного в детском возрасте. В 1896 году, когда это с ним случилось, ему было двенадцать лет. Ваграм рассказал об этом так: сначала перевернули стол, отца и мать привязали рядом к столу, потом раздели и изнасиловали двух старших сестер, потом отрезали им груди и, еще живых, били ногами, а груди раскрошили ножом на мелкие куски и всовывали куски в рот отцу и матери, и они не могли кричать и только тихо хрипели, потом отцу разбивали камнями голову, и на глаза и лоб отца текли мозги, а мать умерла сама оттого, что не теряла сознания и все это видела, и Ваграм это видел через щель двери, за которую спрятался, и никакого чуда не было в том, что его не заметили, потому что как распахнулись двери, когда турки ворвались в дом, так уж никто их не закрывал, а после того, как турки ушли, и некому было закрыть.

О том, что случилось в девяносто шестом году в Константинополе, он знал от матери — в поминальные дни она ставила в церкви свечу за убитых в Константинополе, и много других людей рассказывали об этом в Гори, и, когда рассказывали, сами плакали, и те, что слушали, тоже плакали, и он знал, что все это правда.

После рассказа Ваграма он решил бежать и уже рассчитал для побега высоту окна в клозете и длину простынь, на которых спустится, и как поедет сначала к Ленину, а потом в Тифлис, снова устроит экс и снова — в Льеж, где купит оружие, а потом через Болгарию, морем, перевезет оружие в Россию, и Красин к этому времени через своих боевиков устроит еще несколько эксов по всей России, и оружие, которое купят на эти деньги, он тоже перевезет в Россию, и тогда Ленин приедет из эмиграции в Петербург и будет революция — сначала в России, потом — во всем мире — и в Константинополе... И он только ждал дождливой ночи, чтоб не светили звезды.

Неожиданно его перевели в Бух. Кон это предвидел. Приказ о переводе был подписан прусским министром внутренних дел по настоянию Петербурга, и в Бухе, как и предупреждал Кон, его поместили в девятый охраняемый павильон.

У главного врача Буха Вернера глаза были круглые и веселые, он быстро, невнятно говорил, то и дело прищуривал глаза, гримасничал и сам был похож на больного, но на самом деле глаза у Вернера были хитрые — как будто он притаился в уголках их и выглядывал оттуда. С Вернером приходил в девятый павильон молодой врач с бесстрастным красивым лицом, молчал, что-то записывал, всматривался неподвижным взглядом, и казалось, глаза у него покрыты лаком. Потом он узнал, что это директор больницы Рихтер, и подумал, что и Вернера и Рихтера трудно будет убедить, что он болен, и надо теперь сделать что-то такое, в чем нельзя притворяться, напри-

мер убить себя, и не откладывая, в первый же месяц в Бухе дважды себя убивал: первый раз ночью, в час, когда служитель обходит палаты, разорвал простыню, связал полосы в веревку, сделал петлю, привязал конец к крюку, на котором висела лампа в железной клетке, накинул петлю на шею, отбросил ногами стул, на котором стоял, повис, схватившись руками за петлю (в палате все спали, шаги служителя раздались уже у двери), отпустил петлю, захлестнула духота, потемнело, в последней вспышке сознания — лицо служителя, и услышал крик, и крик так и остался в ушах, пока не очнулся, а потом, в тишине, с разных сторон склонившиеся над ним люди и среди них — Вернер и Рихтер; а во второй раз спрятал баранью кость, днем, когда все ушли на прогулку, разорвал костью на руке вену, другой рукой зажал вену выше раны, дал крови просочиться на простыню, когда вошли в палату, отпустил вену, кровь забила фонтаном, потом перевезли в лазарет и лечили, а Кон требовал, чтобы отпустили на поруки.

В лазарет Кона пускали чаще, чем в девятый павильон. Кон рассказывал, что Либкнехт выступил в рейхстаге с требованием освободить всех русских революционеров, и Роза Люксембург выступила, и Жорес, а в Женеве, на пленуме ЦК, выступил Ленин.

После лазарета о нем как будто забыли, ни Вернер, ни Рихтер не приходили, и так прошло несколько месяцев, и он уже стал думать, что ему наконец поверили и теперь, видно, не могут только решить: выслать или передать в богоугодное заведение для неизлечимых больных, как вдруг его перевели в Моабитскую тюрьму и объявили, что третьего мая суд. Тот же следователь, с крепкими давящими глазами и ровным пробором в густых, иссиня-черных волосах, вежливо сообщил ему, что суд назначен на основании заключения директора больницы в Бухе доктора Рихтера, который считает, что он выздоровел. К то-

му же участие его в тифлисском ограблении и его подлинное имя установлены на самых законных основаниях: все подтвердил Карсидзе, бывший боевик, сейчас Карсидзе в Кутаисской тюрьме, ему показали фото, присланное из Петербурга, и он все рассказал. (В Тифлисе тете Лизе тоже показали фото, и отцу в Гори; тетя Лиза сказала, что не знает, кто на фото, а отец сказал, что похож на сына, только борода мешает.) Еще ничего не поняв из того, что сказал следователь, и не зная, что делать дальше, от внезапного отчаянья он схватил следователя за горло и стал душить и задушил бы, если б тот не успел крикнуть, но уже когда ему крутили руки и раздевали, он знал, что все начнет сначала.

После ледяного моабитского карцера в камеру пришел Гоффман: имею забота на ваши здоровие! — а он опять молча, неподвижно сидел перед Гоффманом, а потом опять бил надзирателей, рвал одежду, пел, плакал, отказывался от пищи и даже отказался от встречи с Коном. Суд не состоялся, и его снова перевели в Бух.

Потом была усталость — как если бы убежал, а его бы поймали и снова посадили в Бух. Чтоб вернуть силы, думал о Житомирском, о том, что Житомирский — предатель. Однажды увидел его во сне: Житомирский наклонился над ним, дышал ему в лицо, а у самого лицо все сморщилось, как будто не может откашляться, а это он смеется и говорит: я — гувернантка Камо. Он проснулся и подумал: Житомирский сейчас надо мной смеется. Было душно. В окне нежно мерцало небо. Май, вспомнил он, уже май, звезды неяркие — сплошной Млечный путь. А Кон опять добивается, чтобы отпустили на поруки. Не отпустят. Кон рассказал о последнем заключении Гоффмана: судебное разбирательство невозможно в течение нескольких лет. Все равно не отпустят. Экспертиза будет длиться вечно.

Среди звезд светилась узкая полоска. Он вспомнил, что

в Куоккале говорили о комете, но почти весь июль, что он был там, стояла пасмурная погода, и он ее не смог увидеть. Как будто ударили по небу кончиком хлыста и остался рубец, подумал он. Или как если бы прижгли небо раскаленной проволокой. Он вспомнил, как Ваграм показывал на заднице шрам и хвастал: не больно!.. От раскаленной проволоки мясо шипит и идет запах, как от шашлыка,— нельзя не поверить. Если бы я был тогда вместо него в Константинополе, я бы тоже теперь ничего не чувствовал. Но я могу это представить, вдруг подумал он, я могу представить, что я тоже был там. Один раз я уже это почувствовал — когда Ваграм рассказывал... Он тогда как-бы слился с Ваграмом, с его шрамом, с его памятью, с его щелкой в распахнутой двери, вошел в его окаменевшее бесчувственное тело, ощущал его чугунную неподатливость, ходил, невольно отряхивая, как Ваграм, ноги, чуть расставляя напряженные деревянные руки, пронзительно вглядывался в окружающих, тупо, как Ваграм, улыбался, когда с ним заговаривали. Теперь мне остается только ничего не чувствовать, подумал он, и я уже знаю, как надо просить ногу, чтоб она не дергалась. Надо попросить ногу, или задницу, или другое место, которое они выберут. Ничего трудного нет, надо только увидеть это место и увидеть, что внутри — обыкновенное мясо, и даже если прожгут до кости — кость еще легче представить, она белая и твердая — кость, и сама не почувствует боли. А после этого у них уже не будет сомнений, и они поверят, как в Герцберге поверили Ваграму.

Первому он сказал о том, что не чувствует боли, соседу по койке. Соседом был наркоман, врач-психиатр. Родные посадили его в тюрьму за то, что он воровал из дому деньги. Потом его прислали в Бух лечиться. Про него говорили, что он очень образован и знает много языков. По-русски он говорил плохо. В палате его называли Доктором. Доктор выслушал его, кивнул, помолчал и ска-

зал: бывает! И улыбнулся. Тогда он стал хватать себя за щеки, живот, бедра, как делал это Ваграм, и, удивляясь, кричал: не чувствую, ничего не чувствую, не больно!.. Его окружили, щипали, дергали за волосы — он тупо, растерянно улыбался. Пришел Вернер, заглядывал в глаза, проводил по спине холодной металлической рукояткой своего молоточка, рассматривал кожу, вдруг быстро, ловко расстегнул ему брюки и с силой дернул за волосы в паху, казалось, вырвал их с мясом, и опять заглядывал в глаза.

Он виновато улыбался.

На следующий день с Вернером пришел Рихтер. Вернер что-то весело, невнятно говорил Рихтеру, Рихтер кивал, потом Вернер вышел и вернулся с санитаром, который нес шприц. Санитар засучил ему рукав, протер ваткой руку выше локтя, а Вернер взял шприц и уже поднес к его руке, но Рихтер отобрал у него шприц и сам с силой всадил иглу в руку, а потом, не вытаскивая, еще наклонял шприц в разные стороны, и тогда игла словно удлинялась и пронизывала руку до плеча.

После этого его кололи каждый день, когда он не ждал — во время обеда, в клозете, внезапно будили ночью... Однажды не разбудили. Он успел проснуться, почувствовав, как откинули одеяло, и мгновенной реакцией удержал себя в неподвижности, не открыл глаза и продолжал ровно дышать. Игла была большая, медленно, долго входила в него, заполняя болью живот и грудь, и казалось, это не игла, а толстый кол, и от него разрываются внутренности. Страшное уже позади, думал он, я мог проснуться от укола, и тогда ясно было бы, что я его почувствовал. Теперь только надо вбирать боль в себя, чтоб она не прорвалась наружу. Он продолжал ровно, спокойно дышать и подумал, что ровное дыхание тоже помогает вбирать боль — как будто с каждым вздохом он заталкивал ее все глубже. Потом боль сразу иссякла, он почув-

ствовал холодок спирта, которым протирали место укола, и почувствовал, как осторожно накрыли его одеялом.

Утром Доктор сказал ему, что ночью его кололи. Он пожал плечами.

— Мне нравится то, что ты с ними делаешь,— сказал Доктор.— Я вижу больше, чем Вернер и Рихтер,— я день и ночь рядом с тобой. Тебя здесь называют анархистом. В России сейчас много партий, но мне нет дела до того, в какой из них ты состоишь. Я — врач. Мне интересно, что ты еще можешь. Тебя не оставят в покое. Даже после сегодняшней ночи. Я хочу дать тебе совет. Они будут следить еще и по зрачкам. От боли зрачки расширяются. Мне будет обидно, если из-за этого пустяка прервется такой великолепный эксперимент. Ты понял меня?

Он не ответил, отвернулся и подумал: если это провокатор и я отвечу ему, станет ясно, что я все делаю сознательно. Но зрачки, вероятно, действительно расширяются. Надо что-то придумать.

Он не успел придумать. В тот же день два санитара молча, быстро повели его по коридору и втолкнули в маленькую глухую комнату без окон. С потолка свисали яркие лампы в железных клетках, и он сразу увидел в углу комнаты маленький примус — обыкновенный, сверкающий от чистоты примус. Рядом, из квадратной железной коробки торчали закопченные спицы, стержни и щипцы. Слева от двери стояла высокая железная койка с натянутым на ней черным брезентом и вделанная ножками в пол, и такой же стул с подъемным устройством.

В комнате были Рихтер, Вернер, два санитара, что его привели, и переводчица с рыжими волосами — он ее узнал по улыбке. Все стояли. Ему предложили сесть. Переводчица сказала:

— Доктор Вернер извиняется за несколько экзотические методы, которые придется применить, но это необходимо для установления окончательного диагноза.

Он понимающе кивнул и сел на стул. Один из санитаров нажал ногой на педаль под сидением, и стул стал подниматься. Когда ноги его повисли, санитар отпустил педаль и туго перехватил двумя ремнями, прикрепленными к спинке стула, его грудь и живот. Руки остались свободными.

Он чувствовал, как мокнет все его тело. Сейчас они увидят пот на лбу и поймут, что я испугался, подумал он. Они нарочно делают все медленно, чтоб я испугался. Еще даже не разожгли примус... Они хотят увидеть, что я жду боли?.. А почему я не должен ее ждать? Я никогда этого не испытывал и должен ждать и бояться. Они все равно увидят это по глазам. Есть какая-то русская поговорка. Про страх. Что-то про глаза и про страх... От страха глаза расширяются?.. Не так, короче. Надо обязательно вспомнить! То же самое сказал Доктор. Он сказал насчет зрачков. Все равно одно и то же. Он сказал: расширяются от боли. От страха тоже расширяются... Почему они не заглядывают мне в глаза? Они будут следить за глазами потом, когда будет больно. Надо, чтоб сейчас! Они должны знать, что зрачки уже расширились. А когда начнут прижигать, я удивлюсь, что нет боли. Раз сейчас жду — потом должен удивляться, что ее нет. Лучше даже обрадоваться. Удивиться, что не чувствую боли, и потом обрадоваться... А зрачки, вероятно, уже расширились. Я ничего для этого не делал. Я действительно боюсь. И лоб уже весь мокрый. Надо еще больше думать о том, что сейчас будет, и тогда страх станет больше. Тогда и легче будет потом перенести боль. Да, да, это хорошая мысль, пока боли нет, думать о том, какая она будет. Сейчас разожгут примус, нагреют вон ту длинную спицу и приложат... Куда приложат? Раз посадили, значит, не к заднице и не к спине. А почему руки не связали?.. Вернер подходит — что-то заметил.

Вернер подошел, посмотрел на его лоб, и Рихтер тоже

подошел. Рихтер стал всматриваться в глаза, даже оттянул на левом глазу веко. Почему он рассматривает только один глаз. Ах, да, на правом бельмо, как я мог это забыть, они могут следить только по левому глазу. Рихтер что-то коротко сказал переводчице, она улыбнулась и спросила:

— Вы боитесь?

— Да, да! — закричал он неожиданно для себя и радуясь, что левый глаз не подвел.— Я боюсь! Что со мной хотят делать?!

Рихтер бесстрастно, одним словом что-то приказал Вернеру, и он понял, что Рихтер приказал начать, потому что переводчица быстро отвернулась к стене, и теперь он видел ее красивую ровную спину, которую тоже помнил по суду в Моабите.

Один из санитаров достал из ящика со стержнями и щипцами короткую иглу с круглым набалдашником на тупом конце. Как большая булавка, успел подумать он, пока санитар подходил. А примус так и не разожгли?..

Тот, что поднимал стул, перекинул вдруг через его голову со спинки доску, наподобие той, что бывает на стульях для младенцев, и торопливо просунул кисти его обеих рук под натянутый на доске широкий ремень, и теперь из-под ремня выглядывали только кончики его пальцев; он увидел свои ногти и все понял... Я ждал не этого, подумал он с тоской, я представил совсем другую боль! К этой боли я не готов. Я не сумею так сразу выдержать... И уже в последнюю секунду, когда санитар протер иглу ватой и поднес к его руке, он, не сдерживая охватившего его страха, опять закричал, и тут же почувствовал, как в левую руку, медленно и неотвратимо усиливаясь, вползает отвратительная боль, и сначала он даже не мог понять, в какой палец всунули иглу, потому что не смотрел на руки, и ему показалось, что на левой руке у него только один палец, и в него, под ноготь, вдавливают огром-

ный гвоздь, и он уже оторвал ноготь и теперь проходит сквозь руку в плечо и в голову, и голова уже набухла и сейчас разорвется... Я ничего не вижу, подумал он с ужасом, я теряю сознание... Ах нет, я просто закрыл глаза! Я закрыл глаза от ожидания боли. Сейчас, когда боль пришла, надо открыть их... Я хотел удивиться чему-то, вспомнил он. Я что-то решил и даже обрадовался, что нашел?.. Что?! Я сейчас опять крикну... Если я не крикну, боль разорвет меня. Вспомнил!.. Я должен удивиться тому, что нет боли... Как я хорошо жил до боли! Неужели когда-то ее не было?! Теперь она никогда не кончится... Что это за рыжее пятно? Это переводчица, она отвернулась, чтоб не видеть меня, а я вижу ее рыжие волосы. Жаль, что не видно ее лица, она, вероятно, улыбается... А это Вернер и Рихтер, я их сразу узнал, они чего-то ждут. Чего они ждут? Только что я крикнул... Когда это было? Еще до боли. Я крикнул от ожидания боли, чтоб потом удивиться, что нет боли. Это я и хотел вспомнить! Теперь я вспомнил... Сколько все это длится? Я опоздал. Надо обрадоваться, хотя бы улыбнуться... Он открыл глаза и, не отрываясь, смотрел в глаза стоявшего прямо перед ним Вернера, потом опустил голову, посмотрел на свои руки и увидел, что игла вошла не в руку, а только под ноготь и из-под ногтя тоненько сочится кровь, а санитар давит на круглый набалдашник иглы, и лица санитара не видно, а видны только его волосы и мокрый лоб, потому что санитар тоже смотрит на его руки, и это его действительно удивило — то, что такая страшная боль от такой маленькой иглы и от того, что этот несчастный санитар так озабоченно давит на иглу, а потом снова увидел глаза Вернера и опять удивился: чего Вернер ждет? Ах да, Вернер ждет, чтоб он улыбнулся!.. И он улыбнулся Вернеру — облегченно и как бы извиняясь за то, что вот только что так испугался, что даже крикнул от страха.

Вернер кивнул второму санитару, тот торопливо отошел к ящику со спицами, поискал в нем, гремя железом, достал еще иглу, протер ватой, подошел и, посмотрев, в какой палец всунул иглу первый санитар, приставил свою под ноготь того же указательного пальца на другой руке, и тоже стал давить на иглу, опустив голову и потея лбом.

Он больше не смотрел на Вернера, а смотрел только на кончики своих пальцев и видел, как постепенно их заливали тоненькие красные струйки, и думал теперь только о том, чтобы удерживать на лице улыбку, которую он так неожиданно нашел и которую он не сумел бы найти вновь, если б она исчезла. И еще он думал, что тело его, вероятно, теперь навсегда онемело от боли, но, когда санитары вытащили иглы, боль сразу утихла, и он опять этому удивился.

Рихтер что-то сказал переводчице, она повернулась от стены, улыбнулась и сказала, что доктор Вернер и доктор Рихтер благодарят за предоставленную им возможность поставить окончательный диагноз.

Потом его перевели в лазарет и держали там, пока не зажили на пальцах под ногтями нарывы. А когда зажили, привели не в девятый павильон, а снова в комнату без окон и на этот раз не посадили, а уложили на железную койку, животом книзу, и примус, когда он вошел в комнату, уже гудел.

Кроме Вернера и Рихтера в комнате было еще несколько человек в белых халатах, но после того, как он лег, он уже никого не видел, потому что лицо его упиралось в черный брезент койки, и можно было не улыбаться, когда приложили к спине, в нескольких местах сразу, стержни и казалось, что огонь прожег спину насквозь и уже некуда прятать боль... Его не привязывали, и руки его были свободны, и это с самого начала ему не понравилось, потому что свободное тело труднее удержать от реакции, и все так и случилось, и когда стержень прикоснулся к

спине, от этого первого мига взметнувшегося по всему телу ожога, руки его невольно дернулись, и, мгновенно осознав это, проклиная их и еще не зная, что с ними теперь делать, он инстинктивно продолжил их движение, неторопливо поднял их к голове, сложил перед собой и удобно положил лицо на руки. Потом он слышал шипение и чувствовал запах шашлыка и знал, что это печется под стержнем его спина, и так ясно представил то, что с ним делали, словно боль вытолкнула его из тела, и он теперь видел свое тело отдельно от себя, откуда-то сверху, но кто-то схватил его сзади за уши и резко откинул голову, и он понял, что это хотят посмотреть на его лицо; он открыл глаза и увидел среди склонившихся над ним лиц испуганное лицо Вернера и вдруг громко, легко рассмеялся, выплескивая накопившийся крик, и еще успел — прежде чем ему опустили голову — подмигнуть Вернеру, а потом кто-то сказал: шреклих! И он узнал голос Рихтера и вспомнил, что «шреклих» по-немецки «ужасно».

О том, что все закончено, он понял по тому, что не стало слышно шипения, кто-то похлопал его по плечу, он поднял голову, увидел санитара и увидел, что в комнате никого больше нет, но боль не отпускала. Он встал, надел рубаху и пошел за санитаром по коридору.

На этот раз его привели в его палату, и он лег на свою кровать, лицом к стене, чтоб хотя бы расслабить мышцы лица, а Доктор, к которому он теперь лежал спиной, стал вдруг тихо ему говорить:

— Ты — эмбрион, нераскрытая почка, зерно в навозе, что из тебя выйдет, неизвестно. Скорее всего тебя убьют. Но если не убьют, из тебя что-то выйдет. И тогда вспомни, что я сейчас скажу. Ты как птица, которая изобретает летательный аппарат, чтобы летать. Для чего тебе твои дурацкие анархистские игры, когда бог дал тебе такую психическую энергию? Человек слаб, он не в силах подняться даже над собственной вонючей плотью. Он забы-

вает, кто он на самом деле, и свою грязь и мерзость принимает за самого себя, и начинает презирать себя, а вместе с собой и всех других. Это случилось со мной. Тебе дана другая судьба — не та, которую ты выбрал, а о которой ты еще не знаешь. Но, видно, для того я так идиотски и встретился с тобой, чтоб тебе это сказать. Тебя отпустят. Ты молод. Уезжай в другой город, в другую страну — в Париж, Лондон, Америку, достань денег, поступи в институт и стань врачом. Из тебя выйдет великий психиатр. Бог дал тебе энергию. Психиатр лечит энергией. Я понял это поздно. После того, как растратил все, что имел. Поэтому из меня ничего не вышло. Со мной случился отвратительный фарс. Но будет еще отвратительнее, если ты, с твоей силой, будешь продолжать свои анархистские шутки. Самое смешное, что это так и будет. Но может быть, когда-нибудь в какой-нибудь тюремной одиночке, когда у тебя будет время подумать о себе, ты вспомнишь о моих словах. Ты понял меня? Можешь не отвечать. Мне не интересно, что ты ответишь. Скорее всего ты ни черта не понял!

Он слушал, не поворачиваясь, а потом решил, что надо все-таки ответить. Он повернулся и спросил:

— Ты не знаешь, как найти Гиршфельда? Это профессор. Я приехал в Берлин к Гиршфельду, чтоб вылечить глаз, а они меня схватили и привезли сюда. Сумасшедшие!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Сначала было заключение Вернера. Кон передал его опять слово в слово.

— Вы должны знать признаки, по которым поставлен диагноз,— сказал Кон.

Он спросил:

— Меня не отпустят?

— В худшем случае вас передадут в попечительство для бедных,— сказал Кон,— но я, как ваш опекун, уже сообщил, что средства на вашу жизнь у меня есть.

В заключении Вернера говорилось, что о преднамеренной симуляции или преувеличении болезненных явлений не может быть и речи. О том, что главный прокурор при Королевском суде в Берлине Шениан написал письмо министру юстиции, он узнал в сентябре, когда Кон был у него в последний раз. Прокурор предлагал прекратить дело.

Потом, как-то ночью, ему принесли одежду и все, что отобрали при аресте, он переоделся, и его вывели на больничный двор. Во дворе ждали полицейские. Везли в машине, и он понял, куда его везут, только на вокзале, где его пересадили в арестантский вагон. В вагоне, кроме него и охранников, никого не было. Вагон шел всю ночь, а наутро остановился и стоял весь день. Когда стемнело, его вывели на перрон, и он увидел написанное русскими буквами название станции: Калиш. И он понял, что с ним делают то, что могли бы сделать без этих двух лет в Герцберге и Бухе, сразу после моабитского суда и даже без суда, потому что суда так ведь и не было. Он шел по земле Российской империи, и вокруг него с обнаженными шашками гудел взвод русских полицейских, а потом он сидел перед полицейским полковником и ждал, когда тот закончит читать его бумаги. Полковник прочел бумаги и спросил:

— Как все-таки вас называть, любезный, Мирский, Аршаков, Петросянц или Камо?

Он подумал и спросил:

— А вас?

У полковника были пышные, сливающиеся с усами старомодные бакенбарды. Полковник посмотрел на него повеселевшими глазами и сказал:

— Извините, забыл представиться: полковник Крыжановский.

И еще раз извинился за то, что вынужден предложить всего лишь лучшую камеру в калишской тюрьме. Потом Крыжановский несколько раз приходил к нему в камеру, расспрашивал о жизни в Париже и в Берлине и в других городах, которые значились в его деле, спрашивал, где красивее женщины, как выглядят сумасшедшие в немецких сумасшедших домах,— как выглядит русский сумасшедший, можете убедиться сами, он перед вами! — и ругал себя за то, что не находит силы уехать из России,— а в революцию не верю, увольте, да и что за удовольствие сидеть в сумасшедших домах! Благо еще в своем, российском, на отечественных харчах, а то ведь посадят где-нибудь в Берлине, потом тебе же и счет предъявят, на сколько их тюремной бурды нажрался. Вот ты для них кто? Самый популярный русский террорист, анархист, социалист... Кто ты там еще? Я в ваших программах не разбираюсь. На тебе сейчас любая больница рекламу сделает, тебе еще платить должны за то, что ты у них сидел! А они что?.. Не находят возможным содержать. Министр юстиции пишет: берлинское попечительство для бедных больных не находит возможным содержать русского подданного и ходатайствовало о высылке в Россию! Согласились оплатить дорогу... До границы! То ли дело Россия — за казенный счет до самого Тифлиса докатим!..

Прощаясь, Крыжановский предупреждал, что полковник Бельский в Варшаве, в распоряжение которого он дальше поступит,— язва, неудачник и лишен юмора.

У Бельского было узкое желтое лицо и проступающие с обеих сторон лба узловатые жилы, казалось, они вот-вот лопнут, и, боясь этого, Бельский говорит тихим ровным голосом.

— Весьма польщен,— говорил Бельский, стоя к нему спиной и глядя в окно, забитое серой громадой Варшав-

ской крепости.— Молодец. Можно сказать, обвел вокруг пальца всю Европу. Туда им и дорога. Пусть знают, что даже российский уголовник умнее их вонючих лопухов.

И смеялся — беззвучно, не открывая рта, изгибая тонкие длинные губы.

В Варшаве его держали в крепости. Кормили хорошо, и он все ел, потому что уже думал о том, что в Тифлисе тетя Лиза и Джаваир добьются свидания с ним и, вероятно, это будет последняя их встреча перед казнью, и не надо огорчать их своей худобой.

После всего пережитого он думал о возможной смерти спокойно, и его только удивляло, что все сложилось так глупо: избежать каторги в Германии, чтобы попасть на виселицу в России. Неужели это надо было только для того, чтобы перед самой смертью стать знаменитым?.. А когда стать знаменитым, перед смертью или задолго до смерти, какое имеет значение? Каждый знаменитый когда-нибудь умрет. Против смерти только одно средство — оставить то, что не умрет с тобой. Хотя бы оставить сына. Или дочь... У меня нет детей. И я ничего не сделал такого, что останется. У меня, по всей вероятности, и не будет больше для этого времени.

Тогда, в одиночной камере Варшавской крепости, он не знал, что будет жить и после революции. Чтобы читать книжки!.. Все-таки я чего-то не понимаю. Что значит читать? Кто-то написал, о чем он думает, я читаю и тоже думаю. Как будто разговариваю... Разговариваю с Пушкиным и Лермонтовым. Очень хорошо! Для чего мне знать, что Борис Годунов убил царевича, а потом о совести думал? Что такое совесть? Человек сделал то, что считал нужным,— вышло против совести. Когда делал, не знал, что от этого будет плохо? Выходит, совесть предупреждает, от чего будет плохо? А человек не слушает

совесть и делает то, что ему сейчас выгодно. И совесть потом за это его мучает. Как это умно устроено, подумал он, что в человеке с самого начала внутри кто-то есть, кто все понимает, и надо только слушать его. Если бы те, у кого есть деньги, слушали совесть, они бы разделили деньги с теми, у кого их нет. И не убивали бы друг друга. И Житомирский бы не предал... И для этого существуют книги — чтоб помнили о совести прежде, чем она начнет мучить. Почему я стал думать о совести? Ах да, об этом я думал в Варшавской крепости. Не о совести... Я тогда впервые подумал о смерти и о том, для чего я жил. Испугался, что не доживу до того, ради чего жил. И думал о жизни — что от нее останется? А о совести сейчас подумал. Революция для того, чтоб все могли думать о совести. Но революцию делают те, кто уже думает о совести. Выходит, с обеих сторон от революции совесть. Так и должно быть. Если до революции о совести думали тысячи человек, после революции должны думать сто тысяч человек, миллионы, все люди... В этом все дело. Очень хорошо! Совесть не может жить только внутри человека. Она должна на что-то опираться. То, что становится опорой совести, и есть главное дело. У каждого должна быть опора совести. Больше всего тех, у кого совесть опирается на детей. А у меня? Даже если бы у меня были дети?.. Мои сестры мне как дети. Но я ничего не делал для них. Я хотел для всех. Моя опора — революция. Революция — это когда совесть каждого находит одну общую для всех опору. Это хорошая мысль, подумал он, Владимиру Александровичу тоже понравится. А Соне не понравится. Соня говорит: у каждого своя истина, и каждый идет своим путем, иначе народы были бы как тысячеголовые существа и не было бы отдельных людей.

В тот вечер Соня читала вслух «Демона», потом пришел Владимир Александрович, говорили о «Демоне», и вдруг пришла Зоя и с ней этот Леопольд.

Зоя приходила редко, и он знал о ней только то, что она хирург и работает в той же больнице, что и Соня. Зоя хорошо одевалась, выглядела моложе своих пятидесяти лет и не была замужем. Соня говорила, что женщине, которая ежедневно видит беспомощных мужчин, трудно выйти замуж. Разве если только бог пошлет второго Камо...

А Леопольда он видел впервые. Зоя сказала:

— Этот очаровательный юноша — сын одного из самых замечательных людей века — моего бывшего учителя гимназии. Он преподавал в гимназии и одновременно сам учился в Московском университете, а после окончания университета вернулся в Тифлис, откуда он родом. Кстати, с отцом Левочки Семен Аршакович знаком. Во всяком случае, он о вас рассказывал. А Левочка учится в Рижском университете и в Москве проездом. Я привела познакомить его со знаменитым земляком.

Оказалось, Левочка, Леопольд — сын того самого немца Рамма, что был соседом тети Лизы. Он вспомнил лицо Рамма и сказал, что сын похож на отца.

— Но вы видели моего отца всего раз и то ночью, в саду, при свете фонаря «летучая мышь»,— сказал Леопольд.

Его обрадовало, что отец так подробно рассказал об их встрече. Вслух он сказал, что «летучая мышь» — хороший фонарь и при свете его вполне можно разглядеть человека.

— Особенно — хорошего! — сказала Зоя.— Лицо хорошего человека, как хороший фонарь,— тоже светится.

Неожиданно Леопольд стал объяснять, отчего это происходит: хороший человек тот, кто ближе к истине, а истина — в преодолении эгоизма, и кто приблизился к истине, тот не видит себя отдельно от других и стремится отдать свое другим, а на языке физики это означает не что иное, как излучение энергии, это-то и производит ощу-

щение исходящего от хорошего человека света, или тепла, или просто спокойствия, которое тоже передается окружающим.

Потом Зоя рассказала, что отец Леопольда дал ему дома образование, какое не дадут и десять университетов, а после окончания гимназии Леопольд отправился в кругосветное путешествие, точнее, отец устроил его юнгой на торговое судно, которое шло вдоль берегов Америки, Африки и Индии, одним словом, я не знаю человека, который дал бы сыну больше, чем отец Левы, сказала Зоя.

— Самое большое, что может дать отец,— это право уважать себя,— сказал Леопольд.— Это помогает потом верить другим людям.

— Вы верите другим людям? — спросила Соня.

— Если б мой отец не был моим отцом, он был бы для меня одним из других людей,— сказал Леопольд.

— Ничего подобного! — сказала Зоя.— Он лучший из людей. Когда-то, девочкой, я призналась ему в любви, да, да, представьте себе, этакий гадкий утенок в гимназическом переднике однажды на перемене в коридоре гимназии признался в любви роскошному красавцу учителю. Он был всего на десять лет старше меня, но сумел объяснить, что сотворять кумиры — самое безнадежное дело. И все-таки лучше его я так никого и не встретила. Это до сих пор спасает меня от идиотского фарса, именуемого браком без любви.

Потом о чем-то говорили еще, кажется о любви, что значит брак по любви, и Соня говорила, что любой брак без любви может привести к любви, если люди уважают друг друга и имеют общие взгляды, а о любви следует судить не в начале, а годам к шестидесяти, когда пройдены испытания, да и вообще так называемая любовь — только стимул, вовлекающий в вечный и, по существу, единственный сюжет жизни, который исчерпывает все возможные человеческие проявления, и еще говорили

о чем-то в этом же роде, а он думал об отце, о том, что, будь у него такой отец, как у этого Леопольда, его жизнь пошла бы иначе.

Как все странно, думал он, то, что у меня отец — такой, а у Леопольда — такой, и то, что мне нужен был именно мой отец, чтобы моя жизнь пошла так, как пошла, и еще, вероятно, много других причин нужно было для этого: если б мать была другой и ее не надо было бы защищать, тоже все пошло бы иначе, и то, что я мог так любить мать,— это от матери, а то, что мог защищать ее,— это от отца, и как все сложно, думал он, одно в другом, и от одного зависит другое, и невозможно ничего отделить, а главное, нельзя понять, где начало... Если бы кто-то вначале сказал: вот этот родится, чтоб стать тем-то, а этот тем-то, и сделайте все, что для этого нужно,— подберите каждому отца и мать, город, дом, лицо, характер?.. Или — ничего никому неизвестно, родились двое и от того, что у одного все — так, а у другого — иначе, один стал Камо, а другой Леопольдом? И я мог стать даже капитаном, что вез его в Индию, или купцом, или нищим, или при родах меня бы уронили — и на всю жизнь горбун?.. Вся жизнь — от случайности? Если жизнь — от случайности, тогда не о чем думать. И нет ни в чем смысла. В самой жизни нет смысла. Но этого не может быть, думал он, все имеет смысл, и поэтому все так связаны друг с другом, не случайно то, что у меня такой отец, а у него — такой, и мать, и все остальное, и то, что он — Леопольд, а я — Камо. Но если все не случайно, значит все так и должно быть? С самого начала было известно, что все так и будет? И для революции сначала нужен был Ленин. До того, как произошла революция, Ленин все написал — ничего случайного не было. Сначала было слово Ленина, а до этого — слово Маркса, и так можно дойти до того, кто сказал про революцию первый... Кто-то должен был сказать первый? Или подумать... Мысль —

то же слово, вначале было слово... Об этом я уже думал, вспомнил он, об этом Горький сказал Ленину в тот день, когда все пришли сюда после фильма о Шатуре. А в тот вечер, когда пришел Леопольд, я об этом не думал. Об этом я думаю сейчас... Все, что я делал до сих пор, и то, что я сейчас думаю, это все — я, а все остальное — и отец, и то, что в Индию не поехал,— это моя жизнь. Владимир Александрович говорит: его величество жизнь! А где я? Для чего совесть, если все зависит от жизни? Я опять запутался, подумал он, я хотел вспомнить, о чем думал в тот вечер, а это я опять думаю сейчас.

Но в тот вечер он подумал, видно, примерно о том же, потому что сказал Леопольду — после того, как тот сказал, что уважение к родителям помогает верить людям,— после этого он сказал:

— А я не уважаю своего отца, но верю, что люди будут хорошо жить.

— Это оттого, что вы встретили хорошего человека, которому поверили больше, чем отцу,— сказал Леопольд.

Его удивило, как уверенно и спокойно сказал это Леопольд, и он ответил, что да, Леопольд прав: больше, чем отцу, и вообще больше всех на свете он верил матери, а мать всех жалела, даже отца, от этого и умерла.

Потом Зоя увидела на столе томик Лермонтова, раскрытый на «Демоне», и сказала, что это ужасно юношеская и ужасно беспомощная вещь, но она любит ее за то, что в пей очень много самого Лермонтова — больше, чем в этом проходимце Печорине. И тогда Владимир Александрович опять сказал, что Демон хотел стать лучше и клялся служить добру и что вообще многое в человеке можно изменить, если отменить частную собственность. Зоя замахала на него красивыми полными руками из-под золотистой шали с бахромой и быстро, весело заговорила:

— Не знаю, как с вашей частной собственностью, слава богу, в этом я ничего не понимаю, но что касается

Демона, то, во-первых, на то он и демон, чтоб нарушать клятвы, а во-вторых...

Но что во-вторых, она не успела сказать, потому что ее перебил Леопольд.

— А Демону незачем исправляться,— сказал Леопольд,— он и так служит добру.

— И попробуйте с этим не согласиться! — снова вмешалась Зоя.— Боитесь ответить? Прекрасно! И давайте пить чай. Мы принесли настоящую восточную гату. И еще кое-что. Нет, нет, мы знали, куда идем, никакое не вино и не коньяк — чистая мистика и общение с духами!.. Кстати, Семен Аршакович обязан рассказать, как ему удалось ни разу в жизни, даже в Тифлисе, не прикоснуться к спиртному. Или это преувеличение в жанре легенды? Говорят, вы ничего не пили, кроме материнского молока и воды?

Он ответил:

— За меня все выпил отец.

— Вот вам наглядное служение зла добру,— серьезно сказал Леопольд.

За чаем опять говорили о «Демоне», о «Борисе Годунове», и Леопольд вдруг сказал, что все идут одним путем — через страдания опыта к неоспоримости десяти заповедей.

И тогда Соня, которая до этого молчала, сказала, что у каждого свой путь и свои десять заповедей, а иначе не было бы отдельных людей и народы были бы как тысячеголовые единые существа.

В последнее время мысли о Соне рождали в нем тоскливое и тревожное чувство, похожее на отчаянье, и это было, как в те редкие дни, когда он терял веру... Собственно, это с ним было один раз — после того как его привезли из Германии. В каждом городе по дороге в Тифлис его встречали полковники, а во Владикавказе ждал взвод солдат, присланных из Тифлиса, и здесь впервые

надели ему на руки и на ноги кандалы и так, в кандалах, везли через Крестовый перевал, и он думал о том, что едет к смерти, и нет больше надежд, и нет сил, а потом, в Тифлисе, сняв кандалы только с рук, посадили в одиночную камеру Метехи, и маленькое решетчатое окно безнадежно пробивало толщу кирпичной стены, и в первый же день долго и изнурительно-терпеливо допрашивал следователь по особо важным делам Малиновский, которого он помнил по батумской тюрьме, и это тоже не оставляло надежд, и тогда ему помог воробей Вася.

Он назвал его Васей потом, когда тот подрос и стал взрослым воробьем, а сначала это был птенец длиной в пол его мизинца, и однажды его занесло в окно камеры.

Дул холодный ветер, на низком кирпичном потолке исчез вытянутый оттиск решетчатого квадрата — он мысленно представил, как солнце быстро садится за развалины Нарикалы, что напротив Метехи. Потом в камере сразу стало темнее и стало слышно, как тонко и противно подвывает над Курой ветер. Что-то упало на каменный подоконник окна, донесся писк, едва различимый в сумерках комочек соскользнул с покатого подоконника на пол и невидимо замер. Он присел и стал осторожно шарить по холодному полу, пока не наткнулся на что-то пушистое и мягкое, что вдруг затрепетало у него под рукой. Он взял это в обе ладони, встал и разглядел в свете окна. Это был птенец. Он судорожно, рывками открывал яркий желтый рот, и глаза его были закрыты.

Он представил, как ветер носил птенца в сером пространстве над Курой,— сдул из гнезда, подхватил, понес, как пушинку,— и как только у него не разорвалось от ужаса сердце! — а потом ветер понес его к стене тюрьмы и мог расплющить о стену, но птенец попал в окно — его и здесь могло убить, если б он ударился о прутья

решетки, но он попал между прутьями, словно кто-то точно забросил его в отверстие решетки, и поэтому птенец упал прямо на подоконник, а с него соскользнул на пол и был жив.

Он поднял птенца к лицу, вложил едва различимый клювик себе между губ — клювик тотчас же раскрылся, и он понял, что птенец принял его за мать и ждет пищи.

— Родной ты мой! — сказал он птенцу и удивился радости, которая зазвучала в его голосе, и от этого еще несколько раз повторил: — Родной ты мой!..

А потом положил птенца под рубаху, слева, где было сердце,— слева теплее, подумал он,— и почувствовал, как бьется сердце птенца. Он не сразу понял, что это, и его охватил страх — показалось, что сердце птенца вот-вот остановится, и он стал дышать под рубаху. А что будет с ним, когда меня повесят? — вдруг подумал он, но тут же вспомнил, что еще должен быть суд и за это время птенец окрепнет и сумеет улететь, а воробьи и зимой выживают, хотя лучше, конечно, выпустить его весной, когда потеплеет,— надо как-нибуть дотянуть до весны, может быть, опять добиться экспертизы, здесь никто не поверит, но хотя бы протянуть время, чтоб птенец мог улететь весной. И он стал думать о том, что теперь надо все начать сначала, и удивился тому, что до сих пор об этом не подумал; я решил, что больше нет сил, и после того как я это решил, мне даже казалось, что я спокоен, но на самом деле я потерял голову, подумал он.

Потом он кормил птенца крошками, оставшимися после вечерней еды, и птенец не сам клевал их, а он, в темноте, уже на ощупь, подбирал крошки со стола и осторожно вкладывал в хрупкую крохотную створку, которую тоже находил на ощуть, а потом ему показалось, что птенец хочет пить и если сейчас же не попьет, то умрет, потому что ясно, что давно уже не пил, с тех пор как ветер носит его, и от этой мысли — что птенец все-таки умрет —



он так испугался, что стал бить в дверь кулаками и ногами и кричал, чтобы принесли пить, а когда надзиратель принес кружку с водой, он не стал поить птенца при надзирателе и вообще не показал ему птенца, а выпил воду сам, а последний глоток задержал во рту и, когда надзиратель ушел, снова приложил клювик к губам и стал медленно, по капле вливать в клювик воду.

Всю эту ночь птенец пролежал у него на груди, а он не спал, боясь во сне его раздавить или неудачно задеть рукой, и ему казалось, что это не птенец прижался к нему, а он сам прижался к кому-то живому, а потом уже ясно чувствовал, что прижался к матери,— он узнал ее по теплой волне, которая обдала его, и было еще чувство благости, которое приходило только от матери, и он погружался в волну все глубже, пока не проснулся, и тогда мгновенно вспомнил про птенца и только не мог сразу понять, приснился он ему или был на самом деле, и вдруг услышал, как тонко бьется у него на груди второе сердце... Это мать послала мне птенца, подумал он, кто еще мог так точно забросить его в отверстие решетки, и ветер нужен был для этого, а теперь, когда птенец здесь, ветра нет, и за окном тихо, и светло, и, вероятно, уже встало солнце. Солнце вставало с противоположной стороны, и лучи его попадали в камеру, только когда оно заходило.

В тот день был допрос, и он пошел на допрос с птенцом за пазухой. Малиновский опять спрашивал о буграх на левой руке — на ладони и пальцах левой руки, где и когда он ранил руку? Он сказал то, что говорил несколько раз: резал ножницами патрон, задел капсюль, патрон разорвался, осколки попали в руку и в глаз.

Малиновский отворачивался, думая о чем-то своем, не глядя, слово в слово повторял вопрос. Лицо Малиновского, когда он смотрел прямо, было пухлое, и рот пухлый, с тяжелыми губами, а профиль — жесткий, римский и только кончик носа свисал.

Он снова стал подробно рассказывать о патроне, и вдруг ему показалось, что птенец под рубахой замер, и тогда он невольно замолчал, чтоб лучше слышать биение.

— Продолжайте! — сказал Малиновский и кивнул писарю, который вел протокол.

Писарь вышел.

Он выпрямил спину, чтоб птенец плотнее прижался к груди, и почувствовал на груди тихое биение. Малиновский повторил:

— Продолжайте.

— А кто будет записывать? — спросил он, не скрывая радости.

Малиновский внимательно посмотрел на него, помолчал и сказал:

— Вас незачем записывать. Вы повторяете одни и те же слова. У вас отличная память.

— В школе историю лучше всех знал,— сказал он весело.— Для истории тоже память нужна.

— Но вы не можете вспомнить, что это было: бомба или патрон? — сказал Малиновский.

Он развел руками.

— Я хорошо помню — это был патрон.

Вошел писарь, и с ним — грузный человек в штатском, с золотой цепочкой, перекинутой из одного кармашка жилета через округлый живот к другому кармашку. Лицо человека, строгое, с рыжими усами и бородкой, было знакомо. Малиновский сказал:

— Ординатор Тифлисского военного госпиталя господин Внуков. Если не имеете возражений, господин Внуков освидетельствует.

Он узнал Внукова — в Гори он носил Внукову фрукты из их сада и еще что-то вспомнил о жизни Внукова в Гори, а Внуков слушал молча и смотрел не на него, а на Малиновского, а потом так же молча ощупал бугры на

его руке и сказал, что до извлечения осколков определенного суждения не имеет.

Он подумал: если его переведут в госпиталь на операцию, птенец останется в камере, и надзиратель выкинет его, и он стал рассказывать, как это с ним случилось в Гори — как он играл с патроном и потом Внуков же лечил ему руку и глаз, и как отец потом прислал Внукову за это барана, но Внуков не дослушал все это и опять повторил, глядя на Малиновского:

— До извлечения осколков определенного суждения не имею!

Потом было свидание с Джаваир, и он хотел незаметно передать птенца Джаваир, но свидание проходило через две решетки, и между ними ходил охранник, и в комнате никого больше не было. Когда его вели на свидание, еще в коридоре он услышал, как одна из женщин кричала:

— Вы не имеете права сокращать свидание! Сегодня — официальный день!

А помощник начальника тюрьмы, который выводил ее, потом был в комнате все время свидания с Джаваир, сказал:

— Приказ его превосходительства генерал-прокурора Афанасовича — Петросянц должен быть в комнате один. Вы не знаете Петросянца, мадам, это такой человек!..

Джаваир сказала, что передала ему теплую одежду, и что у нее уже второй год болит голова, и ее опекун дядя Кон... Джаваир закашлялась и повторила, что опекун, дядя Кон-стантин, считает, что у нее опять что-то с мозгами.

Он понял, что Джаваир связана с Коном и что Кон советует продолжить сумасшествие. И что Кон будет и дальше бороться за него на правах опекуна, и, вероятно, уже написал Воронцову, а может быть, самому Столыпину, и напечатает теперь в газете, как его обманули и

не сообщили о передаче его подопечного в Россию, и Либкнехт выступит в газете, и Роза Люксембург, и все другие, кто боролся за него, а Ленин снова поднимет всю прессу в Германии и во Франции, и это поможет добиться экспертизы, и тогда его переведут в больницу, а из больницы Тифлисский комитет организует побег.

Теплую одежду он получил сразу после свидания. Надзиратель долго ощупывал фланелевые кальсоны, и майку, и толстую, ручной вязки, куртку и, передавая все это в окошечко двери, тупо улыбаясь, сказал:

— Ты того... Ежели не понадобится... Когда поведут... Оставь на память.

— Дурак,— сказал он надзирателю,— скоро будет революция, всем дадут одежду.

Надзиратель плюнул:

— Жмоты вы, смертники!

Захлопнул окошко и, не отходя от двери, долго бессвязно ругался.

А он разложил вязаную куртку на койке, постепенно подбирая с краев, собрал ее в кружок — посередине образовалась ямка, и в нее он положил птенца, куртку с птенцом положил на табурет, рядом с койкой, сам надел теплое белье и лег на койку.

Это случилось наутро. Он проснулся и почувствовал чей-то взгляд. Окошечко в двери было закрыто. Он вскочил с койки, оглядел камеру и увидел два глаза, смотревших на него с табурета. Он подошел к табурету, присел на корточки, долго, с удивлением смотрел в эти открывшиеся вдруг маленькие, напряженные глаза, и ему стало жутко. Ему показалось, что это смотрит на него не птенец, а человек с птичьим телом.

Ночью опять дул холодный ветер. Он положил птенца на грудь и это место поверх одеяла накрыл еще вязаной курткой. Потом он почувствовал, что птенец ползет по груди, и, когда птенец остановился, он передвинул куртку

на одеяле в то место, где теперь был птенец. Потом птенец снова полз, и он снова передвигал за ним куртку, и только к утру, когда проступили на лиловом небе черные прутья решетки, птенец устроился где-то у него на животе и больше не двигался, а он, чувствуя всем телом чуть слышное биение, вдруг представил маленькое, величиной с зерпышко, сердце, которое производило это биение и которое так много теперь значило в его жизни, и удивился тому, как странно его жизнь со всем, что в ней было и есть, связалась вдруг с жизнью этого вылупившегося несколько дней назад и так непостижимо заброшенного сквозь тюремную решетку птенца.

Весь день он думал опять о предстоящей операции и о том, что будет с птенцом, и решил, что не надо скрывать птенца от надзирателей, а, наоборот, надо сделать так, чтобы они его видели и привыкли к нему, и эта мысль успокоила его настолько, что он стал думать потом только об операции и решил, что во время операции естественнее всего будет показать, как он не чувствует боли.

Через неделю птенец передвигался, перелетая с места на место, а когда он брал его на руку, перелетал с руки на плечо. Надзиратели знали о птенце и теперь чаще заглядывали в окошко двери, и он был им благодарен за их интерес к птенцу — и так, через птенца, он стал лучше относиться к надзирателям.

Потом с птенцом на плече он пришел на допрос, и Малиновский, прежде чем начать допрос, подошел к нему и слегка прикоснулся к птенцу пальцем, а тот не испугался и спокойно, с доверием, задрал голову и посмотрел на Малиновского. Малиновский сказал, что операция откладывается — в госпитале не могут обеспечить охрану.

— Боятся, что убежишь во время операции! — сказал Малиновский.— Пеняй на себя, будем ковырять руку в тюремной больнице. Без анестезии. В тюрьме нежности не полагаются.

Он сказал, тоже переходя на «ты»:

— Ты не читал заключение?.. Германские профессора написали заключение: я не чувствую боли.

— Хорошо,— сказал Малиновский,— я скажу, чтоб во время операции вам не привязывали руку.

Операцию сделали через месяц, в декабре. Когда его выводили из камеры, птенец взлетел и сел ему на плечо. Он осторожно переложил его на стол. Птенец задрал голову и смотрел на него. Надзиратель сказал:

— Насчет этого не сомневайся!..

Неожиданно птенец взлетел со стола, полетал по камере, подлетел к решетке окна и исчез. Он бросился к окну, схватившись руками за прутья решетки, подтянулся и посмотрел в окно. На противоположной стороне Куры, на горе, покрытая тонким снегом, празднично сияла Нарикала.

Надзиратели ждали, когда он сам отойдет от окна, потом молча шли с ним по коридору. Из-за дверей камер на звон кандалов кричали:

— Товарищ, ты кто?

— Мы с тобой, товарищ!

— Долой тиранов!

Он не отвечал и шел медленно, ссутулившись, с трудом переставляя тяжелые звенящие ноги, и думал о том, что не надо было приучать птенца к теплу, теперь, с непривычки, он наверняка замерзнет и обратно в камеру залететь не сумеет, да и не найдет среди других окон свое. Он представил, как птенец носится над заснеженным городом, не умея найти себе пищу, и, изнемогая от усталости, садится на снег и тут же взлетает, напуганный непривычным прикосновением, и, напрягая последние силы, опять носится в воздухе, а потом упадет и его растопчут, или переедет колесо фаэтона, или упадет в Куру. Мысли о птенце так напрягли его чувства, что он видел все вокруг себя как бы несознательно, и даже то, что

во время операции рука его должна оставаться неподвижной, это тоже казалось неизбежным и не зависящим от него, и он только с отчаяньем думал о том единственном, что зависело от него и чего он не сумел сделать,— продержать птенца до весны, а теперь птенец не выдержит холода и погибнет.

Он думал об этом и во время операции: его посадили за маленький квадратный стол и на стол перед ним положили большой эмалированный белый поднос, а левую руку его, оголенную по локоть, обмыли спиртом, вывернули ладонью кверху и положили на поднос — как что-то отдельное от него, и грузный человек в глухом белом халате и в белом колпаке сел тоже за стол, с противоположной стороны, и, несмотря на марлю, которая закрывала его рот и нос, он узнал в нем Внукова, а другой, помоложе и худой и тоже в халате и повязке на лице, сел сбоку, слева, и положил на стол рядом с собой маленькую металлическую ванночку с еще булькающей в ней после кипения водой, и на дне ее лежали едва различимые в воде инструменты; Внуков черными резиновыми руками взял у сидящего сбоку узкий мокрый нож, который тот вынул из ванночки пинцетом, и мгновенными легкими движениями несколько раз провел ножом у основания большого бугра посреди ладони, и тут же ладонь стала заливать кровь, и с ладони кровь стекала на поднос, и он понял, что это уже началась операция, и удивился тому, что не почувствовал боли и даже прикосновения ножа к ладони, и обрадовался этому — может быть, кожа действительно стала нечувствительной или Внуков старается сделать так, чтоб не было боли, а Внуков уже отбросил нож и стал обкладывать рану маленькими зажимами, которые тоже передавал ему пинцетом сидящий сбоку, и от зажимов ладонь стало щемить, кровь перестала литься, а сидящий сбоку еще протер ладонь вокруг зажимов марлей, и вдруг, словно в середину ладони одним ударом до са-

мого плеча вбили длинный, зубчатый гвоздь, раздирающая боль охватила руку и все тело, и ноги обмякли, как будто отвалились, а Внуков еще несколько раз повернул нож внутри ладони, и из-под ножа выскочил и со звоном выпал на поднос маленький красный осколок, потом второй, третий, четвертый, и дальше он потерял счет, и каждый раз нож раздирал руку в клочья, а рука неподвижно лежала на подносе, потому что еще с того дня, когда он сказал Малиновскому, что не чувствует боли, он все время помнил, что рука должна оставаться во время операции неподвижной, и теперь какая-то странная, бессознательная, тяжелая память об этом решении словно придавливала руку к столу, и он также бессознательно и машинально улыбался, глядя на Внукова, а тот не смотрел на него и продолжал выковыривать ножом из ладони красные крупинки, как будто и не ожидал, что рука может дернуться и что вообще это живая рука, и крупинки, падая на поднос, тихо звенели, и, уже отупев от боли, он вдруг увидел, что Внуков стал валиться набок, и заметил, что при этом Внуков продолжает ковырять ножом в его ладони, и стал валиться и сидящий сбоку, и стол, и сам он понесся куда-то в пропасть, и последним усилием мысли вдруг понял, что это закружилась у него голова, и, инстинктивно на мгновение закрыв глаза, снова открыл их, увидел всех на месте, и это его так обрадовало, что он громко усмехнулся, а потом ему казалось, что он сидит за этим столом весь день, и уже вечер, и Внуков вдруг встал из-за стола, содрал темную перчатку и неожиданно живой мягкой рукой похлопал его по плечу и сказал: «Молодец!», как говорят послушным детям, и уже не ему, а кому-то другому: «Сорок штук, явная медь!», и тот, что сидел сбоку, пересел на место Внукова и стал неторопливо и очень аккуратно перевязывать его руку, а Внуков сдернул с лица марлю, и оказалось, что это не Внуков, а кто-то другой, тоже с бородкой, но с другим лицом,—

и все это время каким-то остановившимся па одной точке сознанием он представлял, как птенец носится над городом, а потом падает, и его топчут, и это заставляло его страдать больше, чем то, что с ним делали.

И только уже в маленькой больничной палате, куда его повели после операции, лежа на единственной в палате койке, он понял, что птенец опять помог ему — тем, что улетел перед самой операцией.

Через несколько дней в палату пришел Малиновский и сел перед ним на табурет, а он все еще лежал, потому что после операции поднялась температура и ноги подгибались, когда он пытался встать. Малиновский был растерян и хмур, и он решил, что экспертизе не удалось выяснить, от чего осколки — от бомбы или от патрона. Малиновский сказал:

— Имею сообщить следующее: извлеченные из руки предметы есть осколки красной меди. Осколков больше сорока штук. Наличие такого количества осколков, проникших так глубоко внутрь, можно объяснить только взрывом оболочки из красной меди, вызванным капсюлем гремучей ртути,— порох такого дробления не дает. Установлено также, что в начале лета тысяча девятьсот седьмого года вы лечили руку в частной лечебнице врача Соболевского. По времени полное совпадение — перед самым ограблением на Эриванской площади. Все это — впервые за время, что вы арестованы,— не конфиденциальные сведения агентуры, а вещественные улики, которые могут быть предъявлены суду. Кавказ на военном положении. По законам военного положения военно-окружной суд будет иметь суждение о вас по обвинению в преступлениях, предусмотренных статьей сто второй уголовного уложения, статьями тринадцатой, тысяча шестьсот двадцать седьмой, тысяча шестьсот тридцатой, тысяча шестьсот тридцать второй и тысяча шестьсот тридцать четвертой уложения о наказаниях и статьей двести семьдесят

девятой книги двадцатой одиннадцатого свода военных постановлений. Любой из этих статей в отдельности достаточно, чтобы вас повесить. Дело окончено, и в ближайшие дни я донесу о нем прокурору судебной палаты, затем дело будет направлено генерал-губернатору. Всего этого я мог не говорить. Но я выполнил служебный долг и хочу теперь выполнить человеческий. У меня правило: когда я как следователь отправляю человека под смертный приговор, как человек, перед богом, я считаю себя обязанным сделать все, чтобы ему помочь. Я следил за вами во время допросов и уверен, что вы совершенно здоровы. Но сейчас вас может спасти только болезнь. Я докладывал уже прокурору о том, что во время операции вы не чувствовали боли. Прокурор ответил: человек, который берется обезглавить российскую монархию, вполне может не заметить, что ему режут руку. Я хорошо помню вас в батумской тюрьме. Тогда я был помощником прокурора и присутствовал на всех допросах. Потом я следил за процессом в Берлине. Вы вызываете мое уважение, и мне будет трудно жить с сознанием, что я отправил такого человека на смерть. Мне известно, что ваш берлинский адвокат Кон настаивает на вашей болезни и обратился с письмом к председателю Государственной думы Гучкову, он также прислал все заключения немецких врачей и открытым письмом сообщил обо всем русскому послу в Берлине. В прусском ландтаге сделан о вас запрос, на который вынужден был ответить министр внутренних дел Фридрих фон Мольтке. Дела обстоят так, что Россия сейчас не захочет перед лицом Европы нарушить юридические законы. Поэтому все будет зависеть от того, насколько вы убедите их, что вы больны. Это все, что я имел сообщить.

Малиновский тоже говорил о совести — человеческий долг перед совестью... А служебный — против совести? Испугался только, когда под виселицу подвел. Чего испу-

гался? Опять совести? А надзиратели?.. Почему после появления птенца стали добрее? Тоже испугались? Чего им бояться? Они у смертников одежду просят, на память...

А птенец сделал свое дело — и улетел. Без него, может быть, и Малиновский не вспомнил бы про совесть. Но что делать дальше? Кон тоже советует продолжить болезнь. Кон не знает, что такое Россия. В России не замечаешь, что тебе режут руку, и никого это не удивляет.

Через несколько дней после посещения Малиновского в палату пришел начальник тюрьмы — о том, что идет начальник, сказал вбежавший перед этим в палату санитар, начальник был худой, с длинной шеей и голым черепом, и с начальником пришел тот врач, что делал операцию. Врач осмотрел руку и сказал, что рана зажила. Начальник тюрьмы стал шутить — голос у него оказался тихий и глухой и, казалось, доносился издали,— говорил, что тифлисский климат, видно, подходит для берлинских сумасшедших, ни одного признака из тех, что указаны в немецком заключении! — спрашивал врача, не замечал ли тот признаков, и врач сказал, что не замечал, и начальник тюрьмы опять сказал по этому поводу какую-то шутку, беззубо улыбнулся, и на белом лице его мелькнули широкие красные десны.

— Вы подводите Европу, господин Петросянц,— сказал начальник тюрьмы.— Лучшие врачи Европы установили, что вы псих, а вы плюете на них. Нехорошо! Я вас понимаю: то, что проходит в Германии, в России не пройдет. Я ценю вашу догадливость, и все-таки это неуважение к науке, вы оскорбляете науку. Следствие по вашему делу закончено, но, будь моя воля, я присовокупил бы к делу и это преступление. По моему темному разумению, оно еще важнее того, за которое вас будут судить.

И так, балагуря и веселясь, начальник тюрьмы попрощался и ушел, а врач после его ухода сказал, что в прусском ландтаге обсуждался вопрос о незаконной

выдаче в Россию душевнобольного, которого теперь собираются приговорить к казни, и петербургская «Речь» поместила телеграмму своего берлинского корреспондента, излагающую подробности этого дела.

В тот же день его перевели из тюремной больницы в камеру. Но это была уже не та камера, в которой он сидел до этого,— тоже одиночная, но другая, он понял это по едва уловимым признакам, которые никто кроме него не мог бы заметить: не так расположены прутья решетки в окне, чуть ближе к стене неподвижный железный стол, чуть темнее цвет стен, и он стал требовать, чтобы его отвели в его камеру, а в ответ на то, что камера занята, требовал перевести арестанта из его камеры сюда, а его — туда и угрожал, что будет жаловаться начальству. Потом снова пришел начальник тюрьмы и, спросил, почему, собственно, ему так надо вернуться в прежнюю камеру, камеры в Метехи все одинаково комфортабельные, особенно одиночные, и тогда он сказал о воробье — улетел воробей, которого он выкормил, воробей вернется в ту же камеру и не найдет его.

Начальник тюрьмы помолчал и спросил, как звали воробья. Он не задумываясь ответил, что воробья звали Васей.

— Хорошо,— сказал начальник тюрьмы.— Если воробей Вася вернется, его передадут тебе. Но только если это будет именно Вася. Ты понял? Я сам проверю.

Он хотел спросить, как начальник будет проверять, Вася это или не Вася, но вдруг увидел его осторожный изучающий взгляд и понял, что начальник в этот момент подумал о заключении немецких врачей. И он спокойно, с достоинством поблагодарил начальника тюрьмы. Он знал, что начальник сейчас же прикажет осмотреть его прежнюю камеру и проверить, не перепилена ли там решетка окна, и после этого им не останется ничего другого, как поверить, что он хотел вернуться в камеру

из-за воробья, и тогда начальник опять, еще серьезнее подумает о заключении берлинских врачей. А может быть, не найдя в камере ничего подозрительного, все-таки его переведут туда, чтобы потом проследить за ним...

К вечеру того же дня его перевели в прежнюю камеру, а через несколько дней в камеру пришел начальник тюрьмы и спросил, не прилетал ли воробей Вася.

Он сказал:

— Вася прилетит, вот увидишь! Я все время о нем думаю. В Гори жил один человек, его тоже сумасшедшим называли, а птицы прилетали и ему на плечи садились.

— Запомни,— сказал начальник тюрьмы, и на лице его мелькнули красные десны.— В моей тюрьме не бывает сумасшедших!

Но он заметил, что взгляд начальника опять был изучающий. И он вдруг понял, что воробей не только вернул ему силы, но и научил, что делать дальше. Как это просто, думал он, надо теперь жить только этим — тем, что я жду воробья, и больше ни о чем с ними не говорить, и в тюрьме, и на суде. Не будь воробья на самом деле, я бы сам никогда не придумал это. Воробей пробыл со мной ровно столько, сколько нужно было, чтобы я стал думать о нем, а дальше мне поможет именно то, что я буду думать о нем. А почему, собственно, воробей не может вернуться? Если кто-нибудь покажет ему мое окно, он вернется, а так и человек не найдет, в какое окно залететь... Как отнесется суд к тому, что я жду воробья? Снова начнутся экспертизы?.. Что будут проверять? Пусть проверяют. Я на самом деле думаю о воробье. Я хочу, чтобы он вернулся. Если он вернется, будет ясно, что он жив.

Начальник тюрьмы больше не приходил. И не было больше допросов. И не давали свиданий. Дни переходили один в другой, сливая сумерки с вялыми зимними рассветами, ночи были как провалы, и казалось, день начинается сразу после вечера; и так прошла зима, потом завы-

ли бешеные мартовские ветры, и вдруг небо за решеткой стало ясным и легким, и потеплело, и надзиратель Прохоренко, тот, что просил оставить одежду, однажды, передавая в окошко еду, сказал, что суд назначен на двадцать шестое апреля. Ему показалось, что это еще не скоро, но Прохоренко прибавил, что сегодня девятнадцатое и осталась ровно неделя, и еще говорил, что прокурором на суде будет генерал Афанасович, а главный судья — тоже генерал, и остальные — все полковники и подполковники, ниже не будет.

— Значит, казнить будут,— сказал Прохоренко.— На смерть всегда высшим чином собираются.

Он не помнил, как прошла эта неделя, но помнил, что накануне суда, ночью, ему приснился Житомирский,— может быть, потому, что на всю жизнь запомнил потом пробуждение от этого сна.

Житомирский говорил — вернее, не говорил, а опять, как и в прошлый раз, наклонился над ним и дышал прямо в лицо — что-то о предательстве, о том, что он предавал и будет предавать, и все их идеи ничего не стоят перед одним его доносом, а потом стал вдруг свистеть, подражая какой-то птице, и это было так неожиданно, что он проснулся...

Свист еще доносился — это было тонкое верещание, и оно доносилось сверху. Он вскочил с койки и увидел сидящего на решетке окна воробья. Он четко вырисовывался на предрассветном небе. Воробей спрыгнул на подоконник, взлетел, сел ему на плечо и несколько раз ткнулся клювом ему в шею.

Он боялся притронуться к воробью и стоял посреди камеры, расставив руки, словно удерживая равновесие, а воробей клевал его в шею и верещал.

В окошке двери замерло бородатое лицо Прохоренко.

— Прощаться прилетел,— сказал Прохоренко.

И он тихо, все еще боясь вспугнуть воробья, ответил:

— Это брат мой...

— На, покорми,— сказал Прохоренко и бросил в окошко большой кусок хлеба.— Тебе сегодня не положено. На суде накормят.

Он осторожно, стараясь не звенеть кандалами, присел, поднял хлеб и протянул воробью. Тот клюнул, торопливо проглотил, задрал голову, оглянулся по сторонам, снова клюнул. Прохоренко рассмеялся. Донеслись шаги конвоя. Прохоренко захлопнул окошко.

Он снял воробья с плеча, положил за пазуху, спрятал в карман хлеб, быстрыми резкими движениями в нескольких местах разорвал рубаху и штаны и стал ждать, все так же стоя посреди камеры.

Везли его в фаэтоне, на мягком сиденье, под низко опущенным верхом, и рядом с ним с обеих сторон, плотно прижавшись к нему и обдавая запахом пота, сидели двое полицейских, и еще двое стояли по обе стороны фаэтона на ступеньках, и впереди и позади фаэтона ехали конные полицейские, и всю дорогу оглушал грохот копыт, а перед глазами был широкий зад и большая плоская спина кучера.

Фаэтон пошел медленнее и остановился, и он почувствовал дыхание притихшей толпы. Раздалась команда. Кто-то выругался. Полицейские, сидевшие рядом, взяли его под руки и вывели из фаэтона. Он увидел пустой тротуар и красивые белые ступеньки подъезда. От фаэтона к подъезду с обеих сторон стеной стояли полицейские. За ними сплошным телом колыхалась толпа.

Его быстро повели к подъезду. В тишине ясно звенели кандалы. Издали крикнули:

— Да здравствует Камо!

По широкой мраморной лестнице внутри здания его вели уже медленно, давая на каждой ступени останавливаться, а когда повели по просторному темному коридору, он уже чувствовал усталость в ногах и думал только о

том, чтоб скорее сесть. У высокой белой двери его остановили, повернули лицом к двери и предупредили, что, когда дверь откроется, он войдет один — за дверью его ждет другой конвой.

Как странно, думал он, через несколько минут произойдет то, что решит мою жизнь, а я еще не знаю, что это будет, и не может быть, чтобы такая важная вещь, как моя жизнь, решилась от того, что произойдет за несколько минут,— все уже давно готово: вся моя жизнь до сих пор подготовила то, что сейчас будет, иначе моя жизнь до сих пор не имеет никакого значения для того, что со мной произойдет дальше, а этого не может быть, потому что в каждой жизни от начала и до конца должен быть один главный смысл, и значит, то, чего я сейчас жду, уже есть, и между мной и тем, что уже есть,— только эта дверь, и так было в каждую минуту моей жизни, думал он, то, что происходило в каждую минуту, на самом деле уже давно было подготовлено всей жизнью, и мне только казалось, что все происходит от того, что я делаю в эту минуту, на самом деле все зависело от того, что я делал всю жизнь до этой минуты, и все уже есть, и тем, что я делаю, я только открываю дверь, за которой все меня уже ждет...

Но тогда, перед той дверью, я не думал об этом, а только чувствовал усталость в ногах и думал о том, чтобы скорее сесть, а об этом я подумал сейчас. Может быть, я и сейчас стою перед такой же дверью и от этого путаю время? В конце концов, что такое время? Что из того, что это происходило тогда-то, а это — тогда-то? Не могло все происходить сразу — тогда все смешалось бы и снова был бы хаос, и для этого существует время, чтоб не было хаоса... Главное же в том, как я жил до этого — до того, как что-то произошло. Как я жил внутри себя... Но

все время что-то происходит, и значит, главное — как я живу внутри себя каждую минуту. И от этого все зависит?.. А от чего зависит то, как я живу внутри себя? Опять — совесть? Выходит, в конце концов все от совести, все, что я делал и делаю сейчас и каждую минуту, и то, о чем думаю... О чем я сейчас думаю? О том, что опять стою перед дверью? И боюсь ее открыть?.. Я уже полгода стою перед дверью, с тех пор, как женился... Все от того, как мы жили внутри себя до сих пор — как жила она и как жил я. Внешне Леопольд тоже жил не так, как я, но он понимает... Как сказал Кон? Все, что ведет к единению, правда, а что не ведет, неправда. Что ведет Леопольда к единению? То, что вокруг света плавал? Или образованность? Соня тоже образованна и людей лечит, но Соня не верит в единение. И не в том дело, что говорит об этом, а в том, что внутри себя так живет. Важно только это — что чувствует человек на самом деле внутри себя: чувствует себя отдельно от всех или чувствует, что он — только часть... Это, вероятно, и есть совесть — когда чувствуешь, что ты — только часть? Тогда можешь думать о других. А кто может думать только о других? Все дело в том, о чем человек думает больше — о себе или о других? Люди делятся на тех, кто думает о себе больше, чем о других, и на тех, кто думает о других больше, чем о себе. Те, что больше думают о себе, получают радость от того, что берут. Те, что больше думают о других, получают радость от того, что отдают. И от них свет идет, или тепло, или еще что-нибудь... В общем, что-то идет, Леопольд прав. А может быть, все дело в том, что Соня — женщина? Женщина так устроена, что о себе должна больше думать. Моя мать тоже женщина, у нее было двенадцать детей, и она мучилась от того, что люди теряют время на вражду. Всех жалела. И верила в царство божье для всех. А Соня говорит: у каждого свой путь и своя истина, а иначе не было бы отдельных

людей! Леопольд очень ясно ей ответил. Истина — одна, сказал Леопольд, и одному она открыта, а другому еще нет, а если истина у каждого своя, никто никому ничего не откроет и нет смысла спорить. И после этого говорил о том, что духовные законы едины и неизменны для всех времен.

Потом Владимир Александрович и Соня опять спорили о насилии и непротивлении, и Владимир Александрович сказал, что считает вопрос основополагающим для всего дальнейшего хода истории. А Соня что-то возразила, что-то вроде того, что для нее здесь все ясно и никакая история не заставит ее убивать.

— А что бы вы ответили, если б я не спорил, а собирался вас убить?

— Логика солдата! — сказала Соня.— С такой логикой вполне можно уничтожать мир: убей его или он убьет тебя!

— А вы предлагаете сложить руки и ждать, когда тебя убьют?

— Я предлагаю не убивать.

— О да, вы хотите делать историю в белых перчатках!..

И в этом месте в разговор опять вступил Леопольд и сказал, что Ганди в Индии хочет победить не убивая и что только в этом случае и возможна вообще истинная победа, и еще говорил опять о непротивлении, что это борьба не с тем, кто несет зло, а против самого зла и нет ничего нелепее, чем убивать того, кого как раз и надо спасать, и еще о том, что все едино и человечество — одно целое, и ясно, что, убивая другого, всегда убиваешь себя, и поэтому ничего не остается, как любить друг друга, и еще что-то в этом же роде, а потом Владимир Александрович сказал о борьбе, что это тоже связь, и не только людей: деревья, травы, камни, птицы, животные, насекомые, всякие невидимые существа и растения и все остальное

одно без другого не может жить, и все борются, а без борьбы нельзя ничего связать, то есть можно — но на другой планете, где уровень жизни другой, там, может быть, ничего и не разделено, а все слито, как один сплошной мозг, а на земле все разделено, и поэтому все связано только через борьбу, и без борьбы на земле поэтому нет жизни...

Потом снова пили чай и хвалили гату и еще о чем-то говорили, видно, смешном, потому что много смеялись, а он опять думал о том, как странно, что этот Леопольд сегодня пришел, и то, что он знал отца Леопольда, и думает теперь о своем отце, и о себе, и о том, как Леопольд красиво и умно жил до сих пор и, вероятно, так же будет жить и дальше, и впереди у него все ясно, а я так и не знаю, что теперь с собой делать, и не открываю дверь, перед которой стою, и это — трусость и самообман, потому что за дверью все давно готово, и от того, что не входишь, ничего не изменится...

Тогда, десять лет назад, в Тифлисе перед той высокой белой дверью зала военного суда он был уверен, что все зависит от того, что произойдет, когда дверь откроется и начнется суд, но уже когда дверь только приоткрылась и рослый красивый солдат испуганно оглядел его с ног до головы, и он увидел за дверью второго солдата и совсем недалеко, слева от двери, уходящий к высокому сводчатому окну длинный стол, и за столом людей в военных мундирах, и лица их на фоне окна — четкие темные профили, а слева, в зале, лица слиты, и ни одно не увидишь отдельно, с этого момента и пока он медленно шел, гремя кандалами, к столу, а солдаты так же медленно шли с обеих сторон от него, он почувствовал себя вдруг необыкновенно уверенно и с каждым шагом все увереннее, как будто сразу понял, чем все кончится, а когда подошел к

столу, увидел перед столом пустой стул и так обрадовался, что тут же сел на него, и все так же уверенно и спокойно достал из-за пазухи воробья, посадил на стол, достал из кармана хлеб и стал крошить хлеб на стол, и воробей клевал хлеб, а он смеялся, глядя на воробья, и его действительно радовало, что воробей ест, потому что в камере он его накормить не успел. И еще ему казалось, что все теперь зависит не от генерал-прокурора Афанасовича, и не от второго генерала, что сидел посередине стола и был, очевидно, главным судьей, и не от других членов суда, среди которых — он сразу увидел это — никого не было ниже подполковника, а все зависит от того, чтó его связывает с воробьем, и это было для него так ясно, что он стал говорить об этом — о том, что воробей его брат и тоже человек, только на нем перья и маленький, но какое это имеет значение, если он понимает, когда надо прилететь, правда, он не сам прилетел, он еще был птенец и не умел летать, а его задул в окно ветер, и дело, конечно, не в ветре, а в том, что воробья прислала мать, все думают, что она умерла, а она не умерла и прислала воробья...

Он видел, как переглядывались сидящие за столом, а генерал-прокурор Афанасович о чем-то его спросил, но он даже не расслышал, и вправду не расслышал, и уже никому больше не дал рта раскрыть, и говорил только сам, и, когда солдаты подняли его под руки с обеих сторон и отвели от стола, он все еще продолжал говорить, а Вася взлетел со стола и сел ему на плечо, и так, с Васей на плече, его вывели из зала в коридор и завели в маленькую полутемную комнату, и там он сидел часа два или три, пока судьи решали, что с ним делать, а он с аппетитом поел все, что ему дали, и опять разговаривал с воробьем и кормил его.

О том, что суд отложили и снова будет экспертиза, ему сказал на следующий день новый следователь. Он пришел

в камеру чуть свет, сел на стул рядом с койкой, долго молчал, глядя на воробья, а воробей сидел на краю стола и смотрел не на него, а куда-то в сторону. Он заметил, что следователь хорошо сложен, хотя был уже не молод, а голова у него маленькая, и на лице еле помещаются большие роговые очки. Следователь сказал, что Малиновский от дела отстранен, и теперь дело будет вести он — следователь по наиболее важным делам Русанов. И подробно рассказал, что хоть эксперты на суде и заключили, что он болен, все из-за подполковников Вачнадзе и Пентко, они никогда в судебных заседаниях не участвовали и потому были приведены к присяге, а после присяги человек всерьез верит, что может быть честным, и хоть длится это недолго, несколько минут, за эти несколько минут вполне можно принять дурацкое решение, и именно такое решение вчера принял суд, определив Петросянцу длительное наблюдение в больнице. Но, слава богу, в Тифлисе нет больниц, в которых можно предотвратить побег, и поэтому экспертиза будет проведена в тюрьме, и сидеть он будет там же, где сидел, только с сегодняшнего дня под двумя замками, и еще Русанов сказал, что в донесении начальника тюрьмы прокурору сказано, что Петросянц совершенно здоров и это он в суде сделался психически больным.

Вопросов Русанов не задавал, поговорил еще немного о приближающемся лете, о том, что лето в этом году обещает быть особенно жарким, а Тифлис в котловане и поэтому будет еще и душно, особенно в Метехи, который на дне котлована, у самой Куры, и такое лето будет лучшей экспертизой — ничего больше не надо для психически больного человека, чтобы умереть, а если не умрет, ясно будет даже и для этих олухов Вачнадзе и Пентко, что Петросянц здоров, что касается его, Русанова, так ему это ясно и сейчас и поэтому наблюдать за Петросянцем в тюрьме он не собирается, а после лета, осенью, соберет

смешанное присутствие суда и раз и навсегда покончит с этой затянувшейся комедией.

Русанов сдержал слово, только до смешанного присутствия произвел еще в сентябре освидетельствование: были понятые, его раздели, и доктор из Михайловской больницы Орбели, которого он узнал на суде, выслушивал его, приятно щекоча пышными мягкими усами его грудь, выворачивал веки, постукивал по ребрам и лопаткам, прикладывал к спине зажженную папиросу, вздыхал, что-то быстро, волнуясь, говорил, но он не понимал слов, потому что все время ждал боли и воспринимал только ее, и она то и дело возникала в разных местах, и он, уже привычно, всем телом напрягаясь, гнал ее вглубь, куда-то в центр живота, подальше от рук и лица, которые могли ее выдать.

И насчет лета Русанов не обманул: каждое утро сквозь решетку тяжело вползал в окно новый день, неотвратимо разбухал, наполнял камеру душащей безысходностью, и он ложился тогда не на койку, а на каменный пол и лежал так на полу до самого захода, и весь день на прутьях решетки дремал воробей, и его четкая, ясная на фоне окна безмятежность напоминала о неистребимости жизни — и так, ничего не делая, воробей опять помогал ему находить силы, а к вечеру, когда солнце заходило и лучи его освещали окно, воробей слетал на пол, ходил, подпрыгивая, по камере и верещал, и было видно, как клубящимся маревом уползает сквозь решетку еще один день.

Смешанное присутствие окружного суда состоялось в ноябре: долго и утомительно читали «скорбные листы» тюремной больницы, опрашивали врачей — военных, тюремных, гражданских, опрашивали свидетелей и среди них — доставленный из Гори отец Аршак Тер-Петросян, и тетя Лиза, и Джаваир, и следователь Малиновский, и надзиратель Прохоренко, и артиллерийские специалисты, и

пиротехники, понимающие толк в бомбах и осколках, и опять кололи и прижигали папиросками, и теперь это делали уверенно, не торопясь, не сомневаясь в его печувствительности и только подтверждая ее перед судом, а он опять разговаривал с воробьем или обращался вдруг громко ко всем и объяснял, что Вася его брат и все — тоже воробьи и братья, только не знают этого, потому что никто не сидел в одиночной камере и не знает, что такое, когда день и ночь один, и вдруг прилетает к тебе воробей, и ты больше не один, а он может улетать, но не улетает, и тогда ясно, что это твой брат, и думаешь, как это раньше я не понимал, а они и сейчас не понимают и думают, что это он сошел с ума, а это они сошли с ума, потому и не понимают; и за все эти слова, и потому еще, что он опять не замечал, что в это время с ним делали, а воробей Вася все время сидел у него на плече и не взлетал даже, когда шипела у него на спине от папироски кожа,— за все это смешанное присутствие второго уголовного отделения окружного суда постановило подвергнуть арестанта Семена Аршакова Тер-Петросова наблюдению в психиатрическом отделении Михайловской больницы, и это было единственное, чего не предвидел следователь Русанов.

Двадцать первого декабря, на рассвете, ему сменили кандалы и вывели из Метехи. У ворот ждали солдаты. Воробей Вася сидел у него на плече. Шел мелкий снег. Под ногами хлюпала грязь. Под Ишачьим мостом бесшумно кружили завораживающие кольца водоворотов.

На противоположной стороне моста, у голубой мечети, стоял мулла в красной чалме, бесстрастно смотрел на проходивших мимо солдат, увидев человека в кандалах, не меняя позы, чуть заметно задвигал губами, приложил ладони к груди и вискам.

Через Майданскую площадь, сверху, от церкви Сурп-Геворка спускался мацонщик. Он сидел на крупе ишака,

а перед ним с обеих сторон свисали набухшие карманы хурджина. Мацонщик соскочил с ишака, достал из хурджина кувшин и, оставив ишака посреди площади, побежал к солдатам. Его отгоняли, но он не отставал, и тогда один солдат с силой оттолкнул его, он упал, и по коричневой грязи долго растекалась из кувшина белая масса. Мацонщик так и остался на земле, словно и не заметил, что упал, приподнялся и смотрел им вслед.

Потом шли по Армянскому базару мимо лавок и растворов, еще перекрытых длинными железными засовами, и мимо караван-сарая с башенкой, похожей на широкий шпиль, а чуть ниже, сразу за ним, врывшийся в землю низкий вход в Сионский собор, и священник уже, вероятно, ходит по двору вокруг церкви, то и дело останавливается и как будто здоровается со стенами, и мимо синагоги — большой, массивной, из красного кирпича, с круглыми окнами, внутри которых рамы в виде шестиконечных звезд, и синагога еще закрыта, но у ворот во дворе синагоги уже стоят старики с настороженными глазами, и в лицах их озабоченность пастухов, охраняющих свое стадо, а потом — Эриванская площадь, и в Пушкинском сквере, у бронзового бюста Пушкина, на том самом месте, где Пация раскрыла свой красный зонт (а не раскрой Пация зонт, не было бы тифлисского экса, и ареста в Берлине, и сумасшествия), на том самом месте, на скамейке перед бюстом Пушкина, сидел городовой и спал, и на лице его — беспомощное блаженство младенца, а ниже по Пушкинской на ступеньках хашной замерли и сонно смотрят на солдат двое карачогелов в остроконечных высоких шапках и с ними еще один — в пальто и шляпе, с ярким зеленым шарфом вокруг шеи, вероятно, художник или поэт, и вдруг этот, в шляпе, крикнул: «Да воздаст тебе бог за все твои муки, брат!», снял шляпу, поклонился и так, склонившись, стоял, пока он с солдатами проходил, и карачогелы тоже сняли свои остроконечные бараньи

шапки и тоже поклонились, а у Солдатского базара еще было пустынно, и только женщина-курдианка, подметавшая улицу, что-то крикнула двум курдам, которых он сразу и не заметил в маленькой подворотне, они вышли и стали посреди улицы, и солдаты чуть свернули, чтоб не натолкнуться на них, и шли мимо Александровского сада под большими белыми платанами — их голые ветки протягивались из сада на улицу, и за стволами их и за пышными зелеными кустами город исчезал, а на Воронцовском мосту сразу стало просторно,— и в обе стороны от моста стал виден весь город — и Авлабар с огромной даже издали желтой кирпичной Армянской семинарией, и над самой Курой, на скалах, дома с веселыми деревянными балконами, и нарядная круглая башня древнего царского дворца, и вокруг башни тоже деревянный балкон, и у самого моста, внизу, задумчиво выныривающие из Куры большие почерневшие колеса водяной мельницы, а с другой стороны от моста, вдали, схватившись за перекинутый через Куру канат, окруженный белой пеной, перерезает течение паром, и над всем этим — большая, легкая, спустившаяся с неба гора обнимает город долгими мягкими склонами, и по ним, становясь друг на друга, взбираются к ней красивые дома, а сверху, с горы, можно увидеть их красные железные крыши, и Нарикала сверху — маленькая, прижавшаяся к городу с краю, а за ней из ущелья Дабаханки выползает Ботанический сад, и видно Коджорское шоссе, и прямо, вдали, под самым небом большие темные квадратные пятна Ходжеванки и Худадовского леса, и между ними тесно, беспорядочно вбитые в крутые склоны домики Окросубани и Нахаловки и Махат-гора, и там, под горой, в каком-то сарае казаки никак не могли его когда-то повесить...

После Воронцовского моста свернули на Михайловскую, и она сначала опять была узкой, а после Главной почты расширялась, и Михайловская больница по-преж-

нему напоминала средневековую немецкую крепость, а отделение для сумасшедших было у самой Куры — розовое, с решетками на редких узких окнах, окруженное глухой, высокой, тоже розовой, каменной оградой. И когда вошли во двор, там под пустыми деревьями уже бродили несколько человек в серых халатах, но они не обратили на солдат и на него внимания, а он обрадовался им, как радовался каждому, кого встречал, пока шел, и еще, пока он шел, все казалось ему как бы продолжением его тела, и ему даже пришла странная мысль, что, может быть, это и есть его настоящее тело — этот город, и гора над ним, и все горы вокруг, и небо, и воздух, а его руки, ноги, глаза, уши, кожа — только то, что связывает его с телом; вероятно, это чувствует каждый, кто долго сидел в тюрьме, подумал он, а я впервые сидел так долго, целую жизнь, и поэтому сейчас сразу это почувствовал, а Житомирский — дурак, пока все это есть и даже если останется только пыль от всего этого, я еще буду жить, и каждый так живет, и нет смерти, а есть то, что я сейчас чувствую, но еще до того, как он об этом думал, от самого Метехи, всю дорогу была разрывающая горло нежность ко всему, что он видел, и земля, по которой ступали его ноги, была их бесконечным продолжением... А потом это прошло и осталась странная, спокойная благодарность за все, что он почувствовал, и даже к солдатам за то, что они все это время шли рядом, и к воробью, что по-прежнему сидел у него на плече...

Воробей улетел в день побега.

Все восемь месяцев до этого дня он прожил в отделении для буйнопомешанных, летал по комнатам и коридорам, щебетал, клевал, ко всем был доверчив, развлекал даже городовых, приставленных к дверям снаружи, а служитель больницы Игнат Брагин приносил специально для воробья зерно и кормил его из рук, а потом Брагин отнес Джаваир письмо — это уже в июле...

В тот день Брагин рассказал ему, что всю зиму и весну главный врач Гурко требовал снять с номера тридцать восьмого кандалы: писал в окружной суд и к помощнику наместника, мол, звон кандалов возбуждает других больных, и окружной суд теперь постановил перевести его в военный госпиталь, и поэтому нельзя было ничего откладывать, и он попросил Брагина отнести Джаваир письмо. В письме он требовал организовать побег и спрашивал, не думают ли они, что он действительно сошел с ума?

С Брагиным он договорился сам. Брагин был крестьянином Пензенской губернии, хотел уйти из больницы, уехать за границу и учиться, и он обещал это Брагину.

Брагин отнес Джаваир еще несколько писем, и он уже знал, что комитет поручил организацию побега Котэ Цинцадзе. Джаваир прислала с Брагиным английские пилки и веревку, и еще неделя ушла на то, чтобы перепилить кандалы и решетку на окне в клозете, а в день побега, утром пятнадцатого августа, воробей улетел. Потом, рассказывая о воробье Ленину, Горькому и многим другим, он говорил, что воробей улетел в день побега, потому что знал, что больше не понадобится и все пройдет удачно.

Накануне Брагин отнес Джаваир последнее письмо, купил у служителя Жданкова отпуск и уехал в Кутаиси — оттуда Барон должен был переправить его за границу.

С утра было душно или это казалось. Котэ Цинцадзе появился на противоположном берегу Куры прямо напротив его окна, и он сразу его увидел. Котэ взмахнул платком один раз, и это означало, что надо приготовиться. Потом он стал ждать, когда Котэ взмахнет платком три раза,— тогда надо вызвать служителя и пойти в клозет.

К тому месту, где стоял Котэ, по откосу медленно спустился к реке старик в соломенной шляпе. Впереди

него бежала собака. Собака остановилась у воды, обернулась и ждала, когда хозяин подойдет. Хозяин подошел, и собака вошла в воду и поплыла вдоль берега, а хозяин пошел рядом с ней по берегу и что-то говорил. Потом пошел обратно. Собака тоже повернула и поплыла обратно...

Старик вечно будет так ходить по берегу... Через час станет еще жарче, и старик сам влезет в воду. А Брагин уже в Кутаиси... А меня переведут завтра в госпиталь. В госпитале я лягу и буду спать. День и ночь буду спать. У меня остались теперь силы, только чтобы спать. И вешать поведут — буду спать. А Котэ будет вот так стоять. Красивая у Котэ фигура, стройный и в талии тонкий, настоящий аристократ, вероятно, хорошо танцует, а я ни разу не видел, как он танцует... И у Котэ хорошие нервы. А мои нервы испортились. Я ждал этой минуты четыре года и теперь буду смотреть, как старик купает свою собаку. Котэ, конечно, растерялся, он успокоится и что-нибудь придумает... Старик может быть и полицейским. Котэ тоже об этом подумал. Сейчас старик пройдет мимо Котэ, Котэ стоит выше, может прыгнуть на него, связать и заткнуть рот. Котэ не сидел четыре года в сумасшедшем доме — в этом все дело! И одного дня не сидел — только в тюрьмах... Через час или два к Куре спустятся еще люди. А ночью под окном стоит городовой... А наутро меня переведут в госпиталь... Мне бывало и труднее, но я всегда мог действовать. Сейчас я не могу даже крикнуть... Жалко, что бога нет. Это такой пустяк для бога — сделать так, чтоб старик ушел. Надо, чтобы этот дурацкий старик ушел прежде, чем придут на берег люди! Сейчас может помочь только мать. На этот раз ей будет трудно. Труднее, чем раньше. Я не ждал этого. Я все подготовил и все продумал, но этого я не ждал. Никто сейчас не поможет, кроме тебя. Ты все делала сама. В первый раз я прошу. Каждый хочет увидеть то, ради чего живет. Я хочу увидеть, как будет после револю-

ции. Я знаю, люди будут жить хорошо, но я смогу до этого дожить, если этот старик сейчас уйдет.

За дверью раздались шаги, защелкал замок, вошел служитель Григорьев, молча поставил на стол кружку чая, глазами показал на окно: что там? Григорьев должен был отвести его в клозет, а потом уйти в палату, куда его позовет другой служитель, Жданов.

Он снова посмотрел в окно: Котэ стал быстро спускаться по откосу вниз, к реке, подошел к старику почти вплотную, пошел рядом с ним, что-то говорил, вдруг стал смеяться. Старик не обратил на него внимания. Котэ плеснул на старика водой и расхохотался. Старик опять не обратил на него внимания. Котэ остановился, поднял камень и небрежно, словно просто отбросив с дороги, закинул его в воду и, видно, попал в собаку, потому что собака взвизгнула и, продолжая визжать, выскочила из воды, отряхнулась и побежала по откосу вверх. Старик, не оборачиваясь, пошел за ней. Котэ растерянно смотрел им вслед. Когда они скрылись, Котэ достал платок и быстро, отчаянно махнул три раза.

Григорьев еще был в комнате. Он обернулся к Григорьеву и, срывая от внезапного волнения голос, сказал:

— Веди... Веди в клозет, Григорьев!

Григорьев, споткнувшись, пошел к двери.

Потом, гремя кандалами, он шел с Григорьевым по коридору, а когда вошел в клозет, Григорьев побежал на крик Жданова в одну из палат, а он сорвал с перепиленных кандалов проволоки, на которых они держались, снял кандалы, скинул больничный халат и шлепанцы, отогнул перепиленные прутья решетки, привязал веревку, выкинул другим концом за окно, кандалы связал проволокой, положил на подоконник, схватился руками за крайние, не перепиленные прутья решетки, подтянулся, взобрался на подоконник, сел, высунул в окно ноги, схватил ногами веревку, повесил на шею кандалы, вылез, удержи-

ваясь руками за решетку, схватил веревку одной рукой, потом — второй и так, перебирая руками, стал спускаться, пытаясь зажать веревку и ногами, но веревка была тонкой, и ноги теряли ее, и от этого вся тяжесть приходилась на руки, и руки сразу стали болеть, казалось, веревка насквозь перерезает ладони, а он смотрел вниз, на жесткую, высохшую траву у подножья стены и видел, как она приближалась... Вдруг трава колко прижалась к лицу, и он не сразу понял, что упал, потому что никакая боль в руках не заставила бы его отпустить веревку — руки его продолжали сжимать веревку, и она лежала рядом с ним на траве. Он встал на ноги, посмотрел вверх, увидел над собой болтающийся обрывок веревки и только тогда понял, что веревка оборвалась, и, уже думая только об этом, что ему прислали гнилую веревку, устало пошел к реке.

Он спотыкался, падал, но вода освежала его, и он находил силы подняться.

На середине реки остановился, снял с шеи кандалы и бросил их в воду. Брод здесь был по пояс, и он увидел вдруг несущееся на него со всех сторон пространство. Он закрыл глаза, постоял так, с закрытыми глазами, несколько мгновений и открыл их. Навстречу ему по пояс в воде шел Котэ.

— Все могло сорваться! — крикнул он Котэ.— Я мог сломать ноги... Какой ишак дал тебе эту веревку!

И все время, пока шел к берегу, разгребая руками воду и задыхаясь от усталости, говорил о гнилой веревке.

Котэ подхватил его под мышки и помог выйти на берег. Он без сил повалился на песок. Котэ набросил на него плащ, надел фуражку и стал поднимать. Он сам схватил Котэ за шею, и Котэ почти тащил его по крутому откосу.

По набережной они шли под руку, тесно прижавшись друг к другу, как пьяные, и так перешли Верийский мост,

а на Великокняжеской стояли извозчики. Потом долго ехали на извозчике по разным улицам и переулкам, пересели в трамвай, снова, не торопясь, под руки шли по Пушкинской и через Эриванскую площадь, а на Веньяминовской вошли в управление тифлисского полицмейстера и спустились в подвал — там уже были приготовлены свечи и еда.

В подвале полицмейстера он просидел несколько дней. Котэ приносил газеты, в которых сообщалось о его розыске, а однажды он прочел об аресте Брагина в Кутаиси, и с того дня Котэ больше не приходил, и он понял, что Брагин дал показания. Потом ему сообщили, что вместе с Котэ арестованы Джаваир и еще несколько человек.

Комитет предлагал перебросить его в Константинополь, но он поехал в Баку — чтоб узнать у Сегаля о Житомирском. (Сегаль знал Житомирского еще до того, как тот уехал в Берлин учиться.) Комитет запретил ему ехать в поезде, и он добирался до Баку сначала пешком, потом на лошадях и через несколько дней, рано утром, пришел на квартиру Сегаля, разбудил его, и тот со сна принял его за Аршака Зурабова, а он сказал:

— Житомирский — предатель. Поеду в Париж, найду его и убью.

Что было потом?..

После побега все сливалось в неразделимый сплошной стремительный поток, и теперь, вдруг останавливая его на отдельных днях и событиях, он почти не различал подробностей — казалось, память не могла уже удержать то, что было слабее пережитого, и остаться в ней могли только целые события.

В Париж он приехал поздней осенью. До этого еще месяц прожил в Тифлисе в разных домах, на Авлабаре и в

Нахаловке, потом ему достали велосипед, и на велосипеде проселочными дорогами он добрался до Мцхет. В Мцхетах, до прихода из Тифлиса батумского поезда, просидел в овраге, недалеко от станции, и сел в поезд, когда он уже отходил. В Батуми его повели к глазнику, доктору Шатилову. Шатилов смазал ему правый глаз какой-то мазью, и несколько дней после этого бельма не было видно.

Потом был тихий солнечный день, и он, в парике, с черными закрученными усами, с документами турецкого купца Шевки-бея, проходил в батумском порту таможенный досмотр; заметив в руках полицейского свою фотографию, по-турецки, помогая жестами, спросил, не проник ли преступник, которого ищут, на корабль (он хотел знать, будут ли искать его на корабле), и полицейский вежливо улыбнулся и жестом показал, что он может быть спокоен, и он тогда облегченно вздохнул, по-турецки поблагодарил полицейского и неторопливо поднялся по трапу, всем видом показывая, как он теперь спокоен и как доволен жизнью.

В Париже была поздняя осень — время каштанов и его любимого миндаля. Он попросил Крупскую купить миндаля и, рассказывая, все время ел миндаль, и сам смеялся, представляя в лицах надзирателей, следователей, служителей больницы, врачей и даже воробья Васю. Ленин слушал молча и не улыбался, и только когда он сказал о Житомирском, Ленин перебил и потребовал доказательств, а иначе, извините, это нечаевщина. Он не знал, кто такой Нечаев, но не спросил об этом и не возразил Ленину, а решил, что все равно Житомирского найдет, и тогда все станет ясно.

О разногласиях с Богдановым и Красиным Ленин заговорил сам. Репрессии Столыпина расшатали нервы русских социал-демократов, и они опять бросились в разные стороны. А Богданов и Красин стали ультиматистами.



Ленин объяснил, что ультиматисты предъявляют социал-демократической фракции Думы ультиматум: беспрекословное подчинение большевистскому центру, в противном случае фракция должна быть отозвана. Ленин возмущался — на деле, в условиях реакции, это тот же отзовизм и означает неминуемую изоляцию партии от масс. К тому же Луначарский и Горький ударились в богоискательство, создали на Капри свою школу и проповедуют слепую веру в социализм; они считают, что борются за сохранение партии, а на деле ведут ее к ликвидации, то есть к тому же, к чему ведут Мартов и Троцкий. Но Мартов и Троцкий знают, чего хотят, вернее, чего не хотят,— они не хотят революции, а Красин, Богданов, Луначарский и Горький хотят революцию, но они не хотят понять, что нельзя делать революцию, оторвавшись от тех, кто единственно может ее сделать.

Взволнованность Ленина его удивила. Он понял, что разногласия, о которых он слышал еще в Тифлисе, в комитете, и которым не придал значения, на самом деле серьезны, и от того, кто теперь победит, зависит — будет или не будет в России революция. Он сказал Ленину, что сейчас же вернется на Кавказ, проведет новый экс, купит в Бельгии оружие и перевезет в Россию. Ленин сказал: оружием сейчас некого вооружать, оружие, конечно, понадобится, но сейчас главное — перебросить в Россию нелегальную литературу, надо все начинать сначала, удобнее всего создать склады для литературы в Константинополе, оттуда морем на Кавказ, но сначала — в Бельгию, сделать пластическую операцию лица или, на худой конец, оперировать глаз, без этого ехать на Кавказ архиопасно.

В Бельгии операцию делать отказались — и в Брюсселе, и в Антверпене, и в Льеже. Он вернулся в Париж и сказал Ленину, что задерживаться из-за бельма в глазу больше не может. Ленин пошел с ним к известному профессору-хирургу, которого рекомендовал Жорес, и опять наста-

ивал на пластической операции. Профессор сказал, что такого рода операции давно не делает, и посоветовал, уходя от ищеек, обрызгивать подошвы эфиром — эфир испаряется и уносит запах. Он спросил профессора, а как уходить от предателей; доказательства, быстро ответил Ленин, только доказательства, других способов нет!..

Он взял в партийной кассе несколько неразмененных тифлисских пятисоток, нашел художника, который изменил номера, и уехал в Константинополь. Прощаясь, Ленин подарил ему свой плащ на теплой подкладке, а иначе будет холодно ходить по палубе, и Крупская рассмеялась и объяснила, что на пароходе Ленин любит ходить по палубе, а плащ подарила Ленину мать, когда приезжала повидать его в Стокгольм. Он отказывался от плаща, а Ленин, не слушая его, говорил:

— И ни при каких обстоятельствах не забывайте — революцию делаем не мы, не вы, не я, не Красин, не Богданов, а массы, и наша задача вести массы, а если мы потеряем связь с массами, мы выродимся в жалких авантюристов, и подумайте сами, кому тогда будет нужна наша революция?

Потом был Константинополь и в окрестностях его — в предместье Ферикусы — грузинский католический монастырь «Нотр Дам де Лурд», а в монастырской школе при участке Папас-Куспри прятали беглецов из России, и была эмигрантская социал-демократическая группа Ноя Буачидзе, которая уже выступила в поддержку Ленина.

Он тоже поселился в монастырской школе, называл себя отцом Бернардом, посещал все службы и даже пел в церковном хоре, а потом, наладив явочные квартиры и склады для литературы, под именем Семена Савчука уехал в Софию.

В Софии его арестовали как турецкого шпиона. То, что он русский социал-демократ, подтвердил Благоев.

Благоев был лидером болгарских социал-демократов и членом болгарского парламента.

Его освободили. И после этого он еще познакомился с македонскими воеводами, выдал себя за члена Комитета помощи турецким христианам, приобрел у македонцев оружие и с их помощью выехал в Турцию, чтобы сдать часть оружия в Трапезунде.

В Бургасе, куда он приехал из Софии, прямого парохода на Трапезунд не оказалось, и он отправился в Константинополь, чтобы там пересесть на попутный пароход, но таможенная охрана задержала лодку с его грузом, и его восемь дней продержали в полицейском управлении. У него был паспорт на имя Ивана Зоидзе, и он доказал начальнику полиции, что он грузинский федералист и приехал в Турцию предложить помощь в возможной войне с Россией. Его кормили дорогими блюдами и на ночь отправляли в лучшие отели, но на второй день своего комфортабельного ареста он узнал, что отели и дорогие блюда оплачиваются за его счет, и заявил, что не терпит двусмысленных положений, и раз уж его арестовали, пусть отправляют в тюрьму. Заявление его приняли за шутку, и тогда он стал жаловаться на нездоровье и плохой аппетит, и его стали кормить еще более изысканными и дорогими блюдами. На восьмой день министр внутренних дел Турции вернул ему паспорт на имя Зоидзе и предложил любые тайные услуги, а груз его так и не раскрыли и отправили вместе с ним поездом в Афины. (Из Афин легче попасть в Россию, не вызывая подозрений в связях с Турцией.) И так неожиданно он попал в Грецию, куда мечтал попасть с детства — с того момента, как узнал о греческой истории. Он посмотрел в Афинах все древние развалины, и прежде всего развалины Парфенона, и все музеи, но сначала нашел армянских эмигрантов, и они его приняли за члена партии дашнаков, а он отобрал из них надежных людей и наладил свя-

зи для постоянной переброски оружия из Брюсселя на Кавказ. Потом закрыли Дарданеллы. И он остался в Афинах еще месяц. И была эта гречанка, певица, она хотела все бросить и поехать за ним в Россию...

Он целыми днями бродил по развалинам и по улицам и удивлялся строгим, почти суровым лицам греческих женщин, а в ее лице была обнаженность души, какая бывает на иконах, и серые, радостно-доверчивые глаза, и это он увидел сразу, потому что она шла ему навстречу, а он шел с Парфенона и, увидев ее, остановился и спросил первое попавшееся, как пройти к Парфенону. Она ответила, что он идет прямо в противоположную сторону, и только тогда он понял, как удачно спросил, потому что теперь мог повернуть и идти обратно вместе с ней. Она говорила по-болгарски, а он знал несколько десятков болгарских слов, и так, разговаривая по-болгарски и жестами, они дошли до Парфенона, и он, неожиданно для себя, сказал ей, что только что здесь был, и тут же подумал, что теперь она решит, что он ловкий и опытный с женщинами человек, потому что так хитро спросил о Парфеноне, а с ним это было впервые, да и не было у него никогда раньше свободного месяца, чтоб он мог вот так ходить без дела по улицам и кого-то встретить, и еще ему захотелось ей рассказать свою жизнь... Но он не сказал даже, как его зовут, потому что уже ни в чем не хотел ее обманывать, и она, видно, о чем-то догадывалась и, помогая ему, тоже не назвала себя и еще шутила — в имени есть что-то оскорбительное, как будто без имени боятся не узнать друг друга; что касается ее, то имя ей даже помешает, потому что то, что есть в его лице, этого больше ни в чьем лице нет и не может быть, а имя, такое же, может быть и у другого, и обязательно есть у кого-нибудь еще и даже, вероятно, у многих, и это-то ей мешает, и еще говорила что-то такое же веселое и странное, и так они провели остаток этого дня и еще не-

сколько дней и вечеров, и однажды она спросила, любит ли он пение, и предложила пойти в кафе или в кабаре, где поют, но он не мог даже на нее потратить партийные деньги и сказал, что у него нет денег, и тогда она повела его к морю и вдруг стала петь — сначала шепотом, чуть хрипло, потом чисто, ясно и все громче, но ему казалось, что она по-прежнему поет шепотом, а потом она сняла туфли и побежала босиком по песку вдоль моря, шлепая по воде, и он бежал за ней, проваливаясь ботинками в воду и в мокрый песок, и в тот вечер она сказала ему, что все бросит и поедет с ним в Россию, если понадобится — и на край света, а он ответил, что не понадобится, потому что на каторгу он уже не попадет — если его арестуют, тут же повесят. Это у него вырвалось оттого, что вдруг стало странно что-то от нее скрывать, но больше он ничего не сказал, а для нее это было как признание, и она молча, испуганно прижалась к нему.

После этого несколько дней он не приходил на развалины Парфенона, где они встречались, ходил один по городу и думал, что теперь делать. Все произошло так, что он не мог ее не встретить: и этот арест в Константинополе, и то, что его отправили в Афины и закрыли Дарданеллы... Судьба то ли испытывала его, то ли хотела спасти от того, что его еще ждало, то ли награждала за прошлое, а потом ему стало ясно, что надо думать не о своей судьбе, а о ней, и тогда решение пришло сразу.

А она не стала больше ждать, когда он придет к Парфенону, и однажды утром встретила его у подъезда дешевенькой гостиницы на окраине, где он жил. Она, не здороваясь, с надеждой спросила, не болен ли он был все эти дни, и он, отвергая то, что она подсказывала, ответил, что нет, не был болен, и, с трудом подбирая болгарские слова, прибавил, что ему было некогда, и еще резче, развязнее, с ненавистью к себе почти выкрикнул:

— Надоело! Скучно! Скучно... Я устал...

Она смотрела на него с ужасом и состраданием. Потом сказала:

— Если бы я поверила тебе, это было бы хуже, чем то, что ты решил уйти. Я так и не знаю, кто ты, но я знаю, что ты самый чистый человек, которого я за свою жизнь встречала. Я буду думать о тебе и молиться, чтобы бог тебя берег.

В тот же день он выехал в Константинополь: Дарданеллы все еще были закрыты. В Константинополе начальник полиции принял его как старого знакомого и сказал, что на этот раз его никто не тронет, но и после этого он называл себя в Константинополе отцом Бернардом, пел в церкви Санта Анна, и Цвета, сестра болгарина Трайчева, который привозил из Софии нелегальную литературу и снимал в Константинополе квартиру, говорила, что, когда он поет в Санта Анне, туда нельзя попасть, что у него действительно редкий и красивый голос, и после революции в России он обязан стать певцом, а он смущался и отвечал, что после революции в России надо будет еще сделать мировую революцию, а к тому времени голос у него пропадет.

Неожиданно в Константинополь из Персии приехал бывший боевик Гиго Матиашвили, по кличке Дедал-Гиго, и он обсудил с Гиго план нового экса, а для начала, с паспортом Трайчева, послал его в Трапезунд, и Гиго все сделал, как он сказал, и сдал кому надо в Трапезунде груз с оружием, а потом через Персию поехал в Тифлис и стал ждать его в Тифлисе.

Потом были неудачи.

Тифлисский комитет запретил эксы — остатки боевиков во главе с Инцкирвели провалились в девятом году, Шаумян, Джапаридзе, Сталин были в ссылке, Серго — в тюрьме, Цхакая — в эмиграции, надо было уходить в подполье, собирать новых людей,— и на все это он отвечал, что именно поэтому нужны деньги, и нужно еще разоб-

лачить всех провокаторов в центре и за границей, а иначе все лучшие люди исчезнут, как песок в решете, и на это нужны деньги, и все-таки экс ему запретили, и тогда он впервые пошел против комитета и поехал в Москву, к Красину, хотя знал, что Красин отошел от линии центра. (А может быть, именно поэтому и ждал, что Красин его поддержит.) Красин сказал: ты действительно сумасшедший, если берешься сейчас за экспроприацию, посоветовал готовиться к эксу за границей, дал сто рублей — все, что имел,— и обещал присылать еще помесячно, в течение года, пока наберется нужная сумма.

За границу он не поехал, вернулся в Тифлис, ездил в Баку и Эривань, денег не достал, послал Кахояна в Алаверды на медные рудники за динамитом и сам вместе с Гиго готовил бомбы. На расходы часть своего жалованья отдавал Саркис Касьян. (Касьян входил в большевистскую группу и после ареста Орджоникидзе возглавил ее. На квартире Касьяна, на Елизаветинской, была явка.)

Это был его последний экс — и на той же Коджорской дороге, где случился первый, но этот провалился: две бомбы не взорвались, остальные разбили на мелкие куски повозку с охраной, а стражник с первой повозки, где были деньги, открыл пальбу. Убегали через Ботанический сад. Шел дождь, и собаки не могли взять след. Десять дней скрывались у Касьяна, на Елизаветинской. Гиго был ранен в ногу. Он вскрыл рану Гиго ножом и извлек пулю.

Арестовали его через три месяца — в январе тринадцатого года, в Тифлисе, у «Северных номеров»,— подошли сразу со всех сторон и скрутили руки. Девятого февраля освидетельствовали и признали здоровым, второго марта приговорили к смертной казни.

Прокурор Голицынский до суда несколько раз приходил к нему в камеру, сожалел, что нет ни одного облегчающего обстоятельства, говорил, что сочетание воли и бескорыстия — предмет подражания, а не уничтожения,

что берлинская симуляция не имеет равных во всей истории судебной медицины, расспрашивал о семье, прочел на английском и пересказал сонет Шекспира о том, что надо иметь детей, а он ответил, что Шекспир, вероятно, писал свои сонеты не для приговоренных к казни, и Голицынский согласился — прищурил и без того узкие, спрятанные за пухлыми щеками глаза и несколько раз сокрушенно кивнул, и он тогда подумал, что, может быть, Голицынский тоже, как Малиновский, выполняет перед богом человеческий долг, но прокурор не следователь, за ним последнее слово, и он его скажет, все статьи ведут к смерти, и он успокаивал Голицынского и опять шутил: должен когда-нибудь и Камо умереть, на его могиле давно могла вырасти высокая трава, и Голицынский опять соглашался, а в последний свой приход, перед самым судом, больше молчал, поблескивал из узких щелок острыми скорбными зрачками и как будто хотел в чем-то признаться, но вдруг стремительно вышел из камеры, и после этого он видел его только на суде: Голицынский перечислил все его преступления и все предусмотренные на них статьи и потребовал смертной казни. Через месяц после приговора ему объявили, что казнь заменяется двадцатью годами каторги, и он узнал, что Голицынский послал приговор на утверждение с опозданием, дождавшись амнистии по поводу трехсотлетия дома Романовых, и за это получил выговор и испортил себе карьеру.

Потом провалились две попытки бежать. Одна — из поезда, по дороге в харьковскую каторжную тюрьму, в Баку: поезд стоял два дня, и Джаваир приехала в Баку и сделала все, как он написал ей из Метехи,— испекла хлеб и сорок пирожков, положила в них снотворное, а в хлеб — пилку, и все это передала ему на вокзале, когда его сажали в поезд, и он видел, как сел в соседний вагон Бесо Геленидзе, его боевик, а потом караульные заснули, и он перепилил кандалы на одной ноге, и когда пилил на вто-

рой, пилка сломалась, а второй пилки не было, и он дал знать Геленидзе, чтобы тот сошел, потому что все провалилось. И второй раз — из самой харьковской тюрьмы, через мертвецкую, и для этого он пил махорочный настой, чтоб быть похожим на покойника, но заведовавший тюремной коробковой мастерской Вайн (с ним связалась приехавшая в Харьков Джаваир) сказал, что перед выносом по старой традиции покойника бьют молотком по темени,— так провалился и этот план, но от него осталась болезнь желудка.

В тюрьме он делал зарядку по системе Мюллера, во время прогулок и в сильные морозы не надевал шапку, чтобы не снимать перед начальством, и в письмах сестрам писал, что здоров и до невозможности бодр. Уголовники уважали его и называли Большим Иваном. 5 марта 1917 года он написал сестрам, чтоб они не верили совершившейся революции и никого не просили об его освобождении, и снова звал в Харьков Джаваир, чтоб устроить побег. 6 марта его освободили. Он поехал в Баку, оттуда — в Тифлис.

В Тифлисе был Особый закавказский комитет — меньшевиков, мусаватистов, кадетов, дашнаков и социал-федералистов. Большевики выступали на рабочих собраниях. Он уехал в Петроград.

Он был худ и бледен, у него ослаб голос, мучили боли в желудке. В Петрограде, в актовом зале Кадетского корпуса, проходил Первый Всероссийский съезд Советов. Он не пропустил ни одного заседания и был в зале, когда Ираклий Церетели, прекрасно одетый, в костюме и с бабочкой, жестикулируя, предвещал анархию и говорил, что в России нет партии, которая бы согласилась взять власть, а Ленин с места крикнул, что такая партия есть, и потом вышел на трибуну и повторил, что партия большевиков готова взять на себя всю полноту власти. 18 июня на Невский и Дворцовую весь день с окраин шли рабочие и сол-

даты, несли красные знамена и требовали хлеба, мира и свободы. В тот же день он выехал в Тифлис — Ленин уговорил его лечиться.

Весь июль семнадцатого он пил минеральную воду на курорте Уцера, в августе, окрепший, снова приехал в Петроград, но Ленин уже жил нелегально в Финляндии, потому что Керенский распорядился Ленина арестовать. И уже 4 июля казаки и юнкера расстреляли демонстрацию рабочих и солдат на углу Невского и Садовой, и был Манифест VI полулегального съезда партии — «Грядет новое движение и настает смертный час старого мира», и на Кавказе уже запрещали солдатские митинги, и формировали «батальоны смерти» и офицерский «Союз защиты отечества».

В Тифлис он вернулся в сентябре. О событиях в Петрограде узнал к вечеру 26 октября. Декреты о земле и мире читали на митинге, на Арсенале. Было несколько тысяч человек. Подписывали клятву о защите новой власти. В комитете спорили о тактике в новых условиях. Закавказский комиссариат меньшевиков, дашнаков и мусаватистов договаривался с белыми на Северном Кавказе, с английскими и французскими военными агентами в штабе Кавказской армии и с американским консулом в Тифлисе Смитом. Через Кавказ готовилось наступление на Россию. В ноябре Тифлис объявили на военном положении. Шаумян написал Ленину письмо. О том, что письмо повезет Камо, никто не спорил.

На Военно-Грузинской дороге уже лежал снег. Во Владикавказе он встретил Кирова и Ноя Буачидзе. Они готовили восстание в Терском казачьем войске и в Дагестане. (Генерал «дикой дивизии» Половцев через Терек и Дагестан шел на Баку.) В Петрограде несколько вечеров отвечал на расспросы Ленина, уезжал на германский фронт под Нарву и Псков, где не хватало людей, видел Сталина, потом Сталин докладывал о кавказских делах

на заседании Совета Народных Комиссаров, и Совет постановил отправить в Баку 500 тысяч рублей для борьбы с Калединым и назначил председателя Бакинского совета Шаумяна чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа. Деньги и мандат для Шаумяна по предложению Ленина доверили Камо.

Шаумян был в Тифлисе, и из Баку он в тот же день выехал в Тифлис. Тифлисские газеты сообщили о назначении Шаумяна. В первом номере «Кавказского вестника СНК» опубликовали декреты Советской власти и воззвание Шаумяна. В воззвании говорилось, что на Кавказе надо создать новое интернациональное правительство, и оно в единении с Советом Народных Комиссаров России поведет рабочее и крестьянское население к свободному будущему и к царству социализма. Потом в Тифлис вошли немецкие войска. Он жил уже на Великокняжеской, у тети Лизы. С утра бродил по улицам, уходил в Ботанический сад, часами просиживал у водопада, думал о том, что с собой делать,— как будто шел до этого вдоль реки, ни о чем не задумывался, знал только, что надо идти и река выведет, и вдруг водопад... В Ботаническом саду, у водопада, сидели художники, писали этюды. Его узнали, предлагали написать портрет, он отказывался, один из художников настаивал больше всех, говорил, что в лице его есть что-то такое, что может быть только у революционера,— чистота и самоотверженность и ничего героического — и еще что-то говорил о воле, и тогда он вдруг с неожиданной яростью сказал, что легче найти волю, когда сидишь в тюрьме или в сумасшедшем доме, чем когда свободен и все зависит от тебя... И после этого — четкие ясные дни: вставал до рассвета, делал зарядку, обливался ледяной водой, читал, повторял вслух, чтоб глубже вдавить прочитанное в уставший мозг. Помогал Цивцивадзе — доставал книги, диктовал, объяснял, просиживал на Великокняжеской с утра до позднего вечера, в конце кон-

цов поселился в соседнем доме, чтоб не терять время на уходы и приходы.

Однажды перед рассветом, он еще лежал, Цивцивадзе без стука распахнул дверь, сел на стул, молча протянул газету — сообщали о падении бакинской коммуны.

Потом пал Владикавказ. Орджоникидзе и остатки красных — раненые и больные тифом — скрывались в горах Ингушетии. У входа в ущелье Ассы главноначальствующий над Терско-Дагестанским краем генерал Ляхов собрал 15 тысяч войск. Помог сосед Джаваир, бывший командир Эриванского полка, генерал князь Чиковани. Кавказский комитет дал все деньги, какие имел. Джаваир с Чиковани отправились в «свадебное путешествие» по Ингушетии. Он их сопровождал. Вывезли всех, кто остался жив. Однажды встретили старых приятелей князя — генералов Шкуро и Мамонтова. Генералы ехали смотреть Казбек. Шкуро поцеловал Джаваир руку и попросил спрятать на время поездки портфель. В портфеле оказался оперативный план деникинской армии. Джаваир перерисовала план, Чиковани проверил масштабы и потребовал за это дополнительную плату.

В мае девятнадцатого белые победили на всем Северном Кавказе. Серго приехал в Тифлис. С ним была его жена Зина. Жили в доме тети Лизы, на Великокняжеской (Серго женился в ссылке, и с тех пор Зина была с ним даже в окопах). Он повез Серго, Зину и жену Джапаридзе Варо в Баку. Там ждал Микоян.

Из Баку в Астрахань на парусных лодках тайно отправляли в Россию бензин. В Астрахани работал Киров. На Каспии патрулировали англичане. Микоян подготовил парусный баркас. Баркас принадлежал дельцу Рогову и курсировал между Баку и персидским портом Энзели. (Потом, через несколько месяцев, английский эсминец задержал баркас на пути в Астрахань, и на баркасе был Рогов, его судили и тут же повесили.)

Шли тринадцать дней, уходили от курса, чтоб не встретить англичан, нечем было дышать и не хватало воды, потом стало не хватать пищи. Недалеко от Астрахани, в самом опасном месте, стояли пять суток — не было ветра, и парус висел. Он собирал всех на палубе и рассказывал о том, как его пытали в Берлине, и тогда у каждого было с чем сравнивать то, что происходило сейчас, а иногда он рассказывал о веселом: как ехал в одном купе с генералом Афанасовичем, который его судил, как был в Петербурге князем Кокой Дадиани, как в Тифлисе вечером шел в женской одежде и к нему пристал молодой жандарм и все хотел поднять чадру и поцеловать, а он надавал жандарму пощечин и старался бить слабо, чтоб не выдать себя, но жандарм все-таки упал, и тогда пришлось поднять платье и бежать, и как вез в коробке из-под шляп 250 тысяч, и про воробья Васю, который жил с ним в Метехи и в Михайловской больнице, а в день побега улетел, и еще о многом другом, весело и представляя в лицах, а ночью с Серго, когда все засыпали, обсуждали, что делать, если баркас обнаружат, и был план взорвать баркас.

Из Астрахани он поехал в Москву и с вокзала пошел в Кремль. У Троицких ворот было бюро пропусков, ему сказали, что прием закончен. Он попросил позвонить Ленину и сказать, что приехал Камо. Дежурный позвонил секретарю Ленина. Ленин ответил сам — это он понял по тому, как вытянулся дежурный.

Ленин жил в Кремле и повел к себе пить чай.

Он поставил на стол кувшин с ореховым вареньем, который вез от самого Тифлиса. На кувшине была надпись: «Фабрика тети Камо» — ему хотелось чем-нибудь рассмешить Ленина и отвлечь от забот. Он знал, что на Москву шли три деникинские армии — Кавказская, Донская и Добровольческая, и знал, что Ленин написал письмо к народу: «Все на борьбу с Деникиным!», которое начиналось

с того, что наступил самый критический момент социалистической революции, и знал, что на Западный фронт уже выехал Сталин, а через неделю от Сталина была телеграмма с просьбой прислать на Западный фронт Орджоникидзе, Камо и еще несколько человек.

Он не поехал, потому что предложил Ленину план борьбы в тылу Деникина и Ленин его план принял. Потом на Садово-Каретной в 3-м Доме Советов был штаб, и туда приходили те, кого отбирали по поручению Ленина Загорский и Стасова. Все были молодые. Он расспрашивал, требовал подумать о родных, предупреждал, что придется идти на смерть. Собралось человек сорок. Он устроил проверку. К тому времени он познакомился с Атарбековым. Атарбеков тоже приехал из Астрахани и работал в ЧК. Атарбеков переоделся в белого подполковника и со своими людьми, тоже переодетыми, напал на его отряд, а он проводил в лесу стрельбище, и уже расстреляли по мишеням все патроны, и Атарбеков прежде всего выстрелил в него холостым, и он упал и слышал, как Атарбеков каждому угрожал смертью и предлагал перейти в свой отряд, несколько человек испугались и согласились, а один оказался провокатором. Потом на все его объяснения Ленин грустно говорил:

— Все равно нельзя так, есть нормальные способы проверять людей.

Отряд отправили в Курск. По дороге, в Орле, ему дали курсантов. Под Курском он высадился уже с запасами провизии, с походной кухней, с сестрами милосердия, со штабом и с начальником штаба Хутулашвили. Курск сдали прежде, чем его отряд вступил в бой, и он вернулся в Орел, а потом оставил отряд своему помощнику Сандро Махарадзе и уехал в Москву, и там доказывал, что Курск сдали из-за измены, но у него опять не было доказательств, а Сандро, пока он был в Москве, поймал тех, кто предал под Курском, всю верхушку — двенадцать человек,

бывшие офицеры, при них документы и золото, и они хотели бежать к белым.

Деникин бешено наступал, и все части красных отходили к Орлу. В Орле он встретил отряд и вернулся с ним в Москву. Орел сдали, сдали Воронеж, подходили к Туле. Он настаивал, чтоб его послали в тыл Деникина. С ним согласились. Он отобрал шестнадцать человек, научил их бросать бомбы, достал грим, костюмы и парики, провел последнюю репетицию в заброшенных зданиях под Москвой и выехал с отрядом в Астрахань. В Астрахани встретил Киров. Из Баку просили оружия и денег. На Кавказе начиналось партизанское движение, и он взял с собой в Баку полный трюм оружия. Шли две недели, был ноябрь, дули ураганные ветры, и, может быть, это и помогло не встретиться с деникинскими катерами. Оружие зарыли в землю и укрыли в пещере на острове Булло, недалеко от Баку. Он отправился в Баку один на попутной рыбацкой лодке и на следующий день прислал лодку для отряда.

В Баку он узнал, что началось контрнаступление по всему Южному фронту и взяты Орел, Воронеж. Деникин отступал. Тыл Деникина быстро перемещался. Он разбил отряд на отдельные группы, чтоб действовать в разных местах одновременно, и, взяв семь человек, поехал в Тифлис — решил пробраться через Батум в Новороссийск и взорвать штаб Деникина. В Тифлисе, на перроне, перед выездом в Батум, его окружили полицейские меньшевистского правительства. Но не подходили к нему. Он сказал:

— Не бойтесь. Нет у меня бомбы. Нечего в вас бросить. Пойдемте.

Когда это было?.. В начале двадцатого. В Метехи его привезли во время прогулки заключенных, его узнали и устроили овацию. Он стал требовать встречи с главой правительства Ноем Жордания, но Жордания не захотел встречаться, и он стал готовить побег. Джаваир поселилась в смежном с тюрьмой доме, и он стал подкапывать

стену. Но еще до окончания подкопа написал письмо министру внутренних дел Ною Рамишвили. В письме он спрашивал, неужели Рамишвили думает, что он останется в тюрьме. Рамишвили пришел в тюрьму, просил войти в его положение, обещал освободить, если он уедет со всей своей группой из Грузии.

Вернулись в Баку в начале апреля. В середине апреля Одиннадцатая армия подошла к границе Азербайджана. 27 апреля мусаватскому правительству вручили ультиматум с требованием сдать власть. 28 апреля в Баку вошли бронепоезда Одиннадцатой армии. 30 апреля приехали Орджоникидзе и Киров. Он встретил их и уехал в Москву.

Потом по предложению Ленина к нему прикрепили педагога — Владимира Александровича Попова, потом Горький и Игнатьев были свидетелями, когда он расписывался с Соней, потом всю зиму и весну — эта комната, эти фотографии, этот персидский ковер, чернильница Репина, Боровицкая башня, купол Спасителя, колокольный звон, эти странные сливающиеся узоры обоев, и всю зиму и весну приходил Владимир Александрович, и они с Соней спорили, а на самом деле это Соня спорила с ним, и потом, позавчера, Зоя привела этого Леопольда, и в тот же вечер, вернее, уже ночью, когда он пошел провожать их, все для него решилось...

Владимир Александрович шел впереди с Зоей, а он с Леопольдом — сзади, и вдруг Владимир Александрович остановился, дождался их и сказал, что только что сделал Зое предложение и она отказала — сказала, что не хочет делить его с мировой революцией, и Владимир Александрович говорил об этом так, как будто Зоя открыла ему что-то, о чем он до этого не знал. Потом шли все вместе, и Зоя была оживлена, рассказывала что-то веселое и шути-

ла, и он уже думал о Соне и о себе, а Леопольд говорил о возвращении человечества к духовности...

Но сначала, еще дома, после того как выпили чай, Леопольд показывал детекторный приемник, который принес с собой и о котором Зоя сказала, что это чистая мистика и общение с духами, и это действительно напоминало общение с духами, и даже казалось, что духи тесно наполнили комнату, потому что голоса в наушниках смешивались и тонули друг в друге, и все происходило оттого, что Леопольд тонкой проволокой притрагивался к маленькому кристаллу. А когда звуки исчезали, Леопольд надевал наушники и ощупывал кристалл со всех сторон и, успокаивая, повторял: сейчас, сейчас! Глаза у него темнели, лицо сжималось, волосы прилипали ко лбу, и казалось, он пытается сдвинуть дом. Потом молча, быстро снимал наушники и почему-то первому протягивал ему, и он опять слышал этот странный гул, и из гула выныривали звуки, а над ними бушевал ветер, и он различал отдельные слова и узнавал их — немецкие, французские, турецкие, и было много незнакомых слов, и музыка, и все это сталкивалось и тонуло в тихом вселенском грохоте. А Леопольд говорил, что теперь жизнь изменится, потому что всем станет ясно, что на самом деле нет расстояний и все живут рядом, как эти звуки, смешиваясь и сталкиваясь, и все это, конечно, давно известно, и приемник только это подтверждает — если б раньше кто-нибудь сказал, что слышит голоса на другом конце света, его бы высмеяли и приняли за сумасшедшего, а теперь вот он трогает какой-то кристалл — и никакой мистики, все можно услышать собственными ушами.

Он напрягался, чтобы сквозь звуки в наушниках слышать то, что говорил Леопольд, и, не отрываясь, смотрел на кристалл, и вдруг подумал, что весь мир, как этот кристалл, только намного больше — один очень большой кристалл, и на нем разные страны и народы, и сколько бы

они ни враждовали и ни воевали друг с другом, все равно кристалл один, и все на нем — как его грани.

Его так взволновало то, о чем он подумал, что он стал говорить об этом вслух, все замолчали и стали его слушать, а Соня вдруг перебила. Соня сказала:

— Каким же ненужным делом занялся бог, создав разные народы и разные языки!..

Он смутился — не оттого, что теперь все ждали, что он ответит, а оттого, что Соня могла так сказать, и в то же время он знал, что она сказала то, что думала, но ему было обидно, что от его слов у нее ничего не изменилось, а она, видно, поняла это и, успокаивая, прибавила:

— Каждый живет отдельно, только не все это понимают.

И после этих ее слов вмешался Леопольд. Он сказал, что ни одно дело не может быть самоцелью, а только средством, и так же и жизнь человека — не самоцель, а только средство для достижения высших целей. Соня очень серьезно спросила, что такое «высшая цель», но Леопольд словно ждал этого вопроса и стал торопливо и радостно объяснять: у человечества одна цель, она отражена во всех учениях и религиях, во всяком случае за последние две тысячи лет,— преодолеть добротой вражду и объединиться, и бог на то и создал разные народы, чтоб люди сами пришли к этому, потому что иначе они не узнают, что на пути к этому стоят все их пороки или, вернее, один порок всех пороков, источник корысти, жадности, лжи и трусости, порождающий войны и убийства,— эгоизм, всяческий эгоизм — отдельного человека, рода, семьи, племени, и то, что называют расизмом и национализмом — тоже эгоизм, и вообще все, что заботится только о себе и о своем, будь то один человек или целое государство. И не потому ли у всех народов во все времена почитается доброта, которая объединяет людей, и осуждается эгоизм, который их разъединяет. И то же с совестью, совесть тоже

ведет к высшей цели, а того, кто не следует ей, ждет страдание как единственный способ убедить его в реальности этой цели. И в этом месте Леопольд опять говорил о «Борисе Годунове» и о том, что Пушкин указал в нем путь совести как единственный путь жизни, а все остальные ведут к страданиям и смерти, и об этом же в конце концов и говорят все пророки и мудрецы, но Пушкин сказал так просто и ясно, как говорят только великие, и Леопольд повторил слова Бориса о совести, а потом стал вдруг говорить о нем:

— Семен Аршакович извинит, что я говорю о нем в его присутствии, но лучшего примера мне не найти — откуда вся его неистребимая психическая энергия? Жалок тот, в ком совесть нечиста, а в ком чиста?.. Люди стремятся к счастью как к благополучию и пытаются накопить его из выгод каждой минуты, но прийти к счастью они смогут, только когда поймут, что ничего нет выгоднее чистой совести и на пути к ней — все тот же эгоизм.

Потом говорил Владимир Александрович, но не спорил, а ответил Зое, которая вдруг сказала Леопольду:

— Мой дорогой мальчик, ты не говоришь о главном — как отказаться от этой прелестной тысячелетней привычки губить душу эгоистическими наслаждениями? Не мучайся — ответа нет, и я надеюсь, в ближайшее тысячелетие не будет.

И тогда Владимир Александрович опять стал говорить о мировой революции, о том, что она уже началась, и то, что произошло в России,— дело не только России, а всего мира. Русская революция провозгласила основой жизни братство и преодоление корысти как движущей силы жизни, и это не утопия, человек всегда был и остается духовным существом, и поэтому нет ничего достовернее на свете, чем то, что добро сильнее зла, и на добре, несмотря на все страшное, что ежедневно и ежеминутно происходит в мире, только на добре столько тысячелетий держится

мир, и какая это утопия, если то, что выдержало столько испытаний, провозглашается наконец основой жизни? Это и сделала революция в России и тем самым впервые прямо призвала мир к объединению.

И тут Леопольд снова вмешался и сказал, что русская революция — следствие великих мировых процессов, и, может быть, сейчас, после двухтысячелетней паузы, человечество вновь возвращается к духовности. И, может быть, Россия, первая вставшая на этот путь, и закладывает сейчас основы новой духовности — и в своей великой нравственной литературе, и в своих кровавых социальных поисках,— и это вовсе не означает, что Россия делает историю, а означает только, что истории для того, к чему она идет, потребовалась сейчас именно Россия, как когда-то для основ древней духовности потребовался Египет. И борьба России со старым миром сейчас так же неизбежна, как неизбежна и ее победа, которая в конце концов станет победой человечества. И об этом же говорил Леопольд на улице, когда он пошел их провожать.

Он вдруг испугался, что после их ухода может быть разговор с Соней, и сказал ей, что пойдет провожать, а она не удивилась, что он не предложил пойти и ей, и даже сказала, что устала и ляжет спать. Потом, проводив всех, один он шел по ночной Москве и думал о том, что открыл наконец дверь, которую так давно не решался открыть, и за дверью все было так, как он предполагал. Все было ясно с самого начала, подумал он, но я не хотел этого видеть, мне захотелось иметь свой дом, у меня никогда не было дома. И опять не будет... И для чего мне дом? Та гречанка это поняла. И Зоя понимает. А Соня не поняла. Я тоже не хотел понимать... Теперь надо уехать. Опять с учебой ничего не вышло.

Он перелистал тетрадь для домашних занятий и подумал, что в ней теперь навсегда остались эти семь месяцев его жизни, и вот даже эта комната осталась в тетради:

«Сидя в своей маленькой комнате и глядя через единственное окно, я вижу старый сад с большими деревьями...» Когда это было? Соня задала описать комнату. Жаль, что писал карандашом,— карандаш сотрется... А что не сотрется? Кто это сказал — все проходит?.. Какой-то мудрец. И все равно что-то остается. Даже если уничтожить весь мир, что-то останется. И из этого потом снова возникнет мир. Как из зерна. Иначе откуда вначале было слово... Настоящее слово — это когда хочешь сказать правду. А в чем правда?.. В том, что есть на самом деле. На самом деле есть то, что все связаны, все — в одном... «Люди, львы, орлы и куропатки...» Чехов это знал. И совесть ведет к этому. Вначале была совесть?.. А что — совесть? Никто не знает. Но без совести что делать с жизнью?.. Леопольд прав, Пушкин — великий человек, никто так просто не сказал: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста...» Ничего больше о жизни не скажешь!

Он нашел запись в тетради о «Борисе Годунове»: «Вот этот сильный человек, который из рода татарина сделался царем, перешагнув даже через труп младенца царевича Димитрия, не мог долго устоять против угрызений совести... и как будто слова Григория Отрепьева постепенно исполняются: «И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от божьего суда...» Он машинально перелистал тетрадь еще и прочел первую попавшуюся страницу: «рискуя, рискуя, рискуя, риск, рис, киска...» Это было в тот день, когда я смотрел на стены и думал о том, как все связывают узоры на обоях, вспомнил он. И через эти дурацкие слова осталось то, что я тогда почувствовал...

Донеслись удары колокола из храма Спасителя. Скоро придет Соня, подумал он.

ЭПИЛОГ

В июне двадцать первого года незадолго до начала III конгресса Коминтерна в Москве Камо послал Ленину записку, в которой просил о встрече. (На записке рукой Ленина: «Камо. Напомнить мне!») Ленин принял его, и в том же двадцать первом Камо отправили в Персию, для проверки работы советских внешнеторговых учреждений. Потом он стал работать в Тифлисе начальником Закавказского таможенного управления.

14 июля двадцать второго года утром он заполнил в Тифлисском комитете регистрационную анкету и просил поручить ему работу среди молодежи. Потом пошел к своему старому другу Сереже Кавтарадзе и уговаривал отпустить его против шайки бандитов, которая появилась в Кахетии: переоденусь в крестьянскую одежду, возьму косу и пойду по Кахетии, увидишь, всех выловлю!.. Потом навестил гостившую в Тифлисе семью Шаумяна. Потом на велосипеде поехал к Атарбекову и пробыл там три часа. Потом, в одиннадцать часов вечера, на велосипеде поехал домой. Атарбеков жил на Головинском проспекте, напротив Казенного театра. Он проехал по Головинскому, потом по Верийскому спуску, потом на повороте Верийского спуска, у цирка, перед самым Верийским мостом, в темноте его сбил автомобиль, и шофер сам повез его в ближайшую Михайловскую больницу, где он и умер в три часа ночи, не приходя в сознание.

18 июля, в день похорон, с часу дня предприятия Тифлиса прекратили работу. Вдоль Головинского проспекта шпалерами стояли войска. Хоронили на Эриванской площади, в Пушкинском сквере. У гроба стоял венок от Ленина и Крупской. От ЦК выступал Орджоникидзе. К концу речи, заглушая слезы, он крикнул:

— Когда я встречусь с Лениным, я не знаю, что буду говорить!..

Последним от Закавказского союзного Совета выступил Нариманов. Он сказал:

— Мы до конца проведем твою идею и создадим царство мира и любви.

Надгробное слово сказал Аракел Окуашвили. Он плакал:

— Здравствуй, Камо, здравствуй... Здравствуй, вечно голодный борьбой, вечно бодрый брат мой, здравствуй...

Зурабов А. А.

З-94 Тетрадь для домашних занятий: Повесть о Семене Тер-Петросяне (Камо).— М.: Политиздат, 1987.— 231 с., ил.— (Пламенные революционеры).

З $\frac{0505030100-032}{079(02)-87}$ 142—86 ББК 66.61(2)8+84Р7

АРМЕН АРАМОВИЧ
ЗУРАБОВ

ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЗАНЯТИЙ

ПОВЕСТЬ О СЕМЕНЕ ТЕР-ПЕТРОСЯНЕ (КАМО)

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *А. П. Пастухова*
Младший редактор *Г. И. Жарикова*
Художник *Р. А. Кондахсазов*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 124

Сдано в набор 08.08.86. Подписано в печать 12.12.86. А 00223. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,11. Усл. кр.-отт. 13,48. Уч.-изд. л. 10,67. Тираж 300 тыс. экз. Заказ № 418. Цена 90 коп.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий». 620151, г. Свердловск, просп. Ленина, 49.

В 1987 году в серии
«Пламенные революционеры»
выйдут следующие книги:

Борис Грибанов
«ЖАННА Д'АРК ИЗ ИСТ-САЙДА»
Повесть об Элизабет Флинн

Александр Житинский
«ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ»
Повесть о Людвике Варыньском

Сергей Заплавный
«ЗАПЕВ»
Повесть о Петре Запорожце

Владимир Красильщиков
«ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС»
Повесть о Серго Орджоникидзе

Станислав Рассадин
«НИКОГДА НИКОГО НЕ ЗАБУДУ»
Повесть об Иване Горбачевском

Михаил Скрябин, Леонард Гаврилов
«СВЕТИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО СГОРАЯ»
Повесть о Моисее Урицком

Вячеслав Усов
«ОГНЕННОЕ ПРЕДЗИМЬЕ»
Повесть о Степане Разине

Владимир Успенский
«НА БОЛЬШОМ ПУТИ»
Повесть о Клименте Ворошилове
(Второе издание)

Рафаил Хигерович
«БОЙЦОВ НЕ ОПЛАКИВАЮТ»
Повесть об Антонио Грамши
(Второе издание)

Иван Щеголихин
«ДЕЛО, ДРУЗЬЯ, ОТЗОВЕТСЯ»
Повесть об Анне Корвин-Круковской

В 1988 году в серии
«Пламенные революционеры»
выйдут следующие книги:

Валерий Алексеев
«ГРАНИ АЛМАЗА»
Повесть о Патрисе Лумумбе

Вольдемар Балязин,
Вера Морозова
«НАСТАНЕТ ГОД»
Повесть об Ольге Варенцовой

Владимир Бараев
«ВЫСОКИХ МЫСЛЕЙ ДОСТОЯНЬЕ»
Повесть о Михаиле Бестужеве

Александр Борщаговский
«ВОССТАНЬ ИЗ ТЬМЫ!»
Повесть об Александре Полежаеве

Михаил Воронецкий
«МГНОВЕНЬЕ — ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
Повесть о Феликсе Коне

Евгений Добровольский
«ЧУЖАЯ БОЛЬ»
Повесть о Вере Засулич
(Второе издание)

Юрий Когинов
«НЕДАРОМ ВЫШЕЛ РАНО»
Повесть об Игнатии Фокине

Эм. Миндлин
«НЕ ДОМ, НО МИР»
Повесть об Александре Коллонтай
(Третье издание)

Александр Нежный
«ОГОНЬ НАД ПЕСКАМИ»
Повесть о Павле Полторацком
(Второе издание)

Еремей Парнов
«ПОД ЛИВНЕМ БАГРЯНЫМ»
Повесть об Уоте Тайлере

Юрий Трифонов
«НЕТЕРПЕНИЕ»
Повесть об Андрее Желябове
(Третье издание)

Владимир Успенский
«ШКОЛА БУДУЩЕГО»
Повесть об Андрее Андрееве



